

С. ГУСЕВ • ОРЕНБУРГСКИЙ

ГОРЯЩАЯ
ТЬМА

1926

4
6

Друзья-читатели

Ольги Петровны

Озерковой -

от

автора

с душевным

приветом!

1945

II

27

New York City

U.S.A.

С. Гусев - Дружба





Библиотека « О Р И О Н » .

Книга первая.

Copyright 1926
by "INDER-ZVER"

Cover drawn by NICOLAY CICKOVSKY
Emblem drawn by BEN-JA-MEN

TRIANGLE LINOTYPING CO., Inc., 112 FOURTH AVE., N. Y. C.

С. ГУСЕВ-ОРЕНБУРГСКИЙ

ГОРЯЩАЯ ТЬМА

СОВРЕМЕННЫЕ РАССКАЗЫ

М С М Х Х V I

ИНДЕР - ЗВЕРЬ НЬЮ - ИОРК

•

МУЖИКИ .

ПРИЗРАК ПРОШЛОГО.

... В зареве небо ...

Лесная опушка, подернутая багрянцем, вспыхивала, словно загораясь, и снова темнела. У опушки, на пригорке, стоял дьякон. Очень высокий, — он еще выше казался от мохнатой шапки. От прерывистой-же игры багровых отсветов — как-бы вытягивался, вставая на носки, и сокращался, приседая. Большие глаза его на худом лице со впалыми лохматыми щеками горели таинственным огнем. Вспыхивая и потухая вместе с опушкой, он временами басовито бормотал:

— Горит жа-а-а-арко ...

С пригорка хорошо был виден широкий и приземистый барский дом. Большие окна его освещали тьму как огненные очи. Пламя вырывалось из них шумящими языками и тут-же рассыпалось на миллионы искр. Изпод крыши густо валил дым и багровые змейки, нырявшие в нем, говорили о том, что пылает уже и чердак: скоро весь дом в бушующий костер превратится. Вокруг дома, вдали и вблизи, в отблесках пламени мелькали темные и черные фигуры: их было много, они метались, сталкивались, грудились в кучи и разбрасывались в стороны как листья в бурю. Сновали у амбаров, у крепко-сбитых сараев и конюшен, выдвигались из тьмы и снова уходили в нее. Временами доносились до дьякона запах гари, доплывали всплески смутных криков, грохот железа, намеки гомона.

Дьякон молчаливо наблюдал.

П Р И З Р А К П Р О Ш Л О Г О

Когда-же крыша дома враз провалилась и целый фейерверк искр взлетел вверх, кружась и играя, дьякон шумно вздохнул и обратился к кому-то, невидимому во тьме.

— Сеня...

Тьма невнятно отозвалась.

— Ну?

— Завидовскую экономию помнишь? Справляй, Сеня, поминки по ней. Скоро, брат, от нее одни угольки останутся да и те пеплом покроются... а пепел тот ветер по всем четырем сторонам земли развеет.

Тьма ворчала в ответ.

Ворчала угрюмо и неразборчиво, — слова сливались в медвежьем бормотаньи.

— Не слышу, Сеня, — обернулся дьякон, — чего ты говоришь?

— Пусть ее... сквозь землю...

Взмыли из тьмы жуткие слова, словно кто-то там выдавливал хрипящие звуки и давился ими.

— Сквозь землю... пусть ее... со всем их отродьем. Да... пусть им и на том свете места не найдется.

Угрюмая и страстная ненависть прозвучала, как реквием, в последнем слове:

— Во вечные времена и веки.

— Аминь! — басом отозвался дьякон.

И засмеялся.

— Злой ты, Сеня.

Тьма молчала.

Дьяконово лицо стало багровым, потому-что дом загорелся как жаркий костер и уже утонули в пламени окна и двери. Опушка словно занялась бесшумным пожаром. И в тот момент на миг выявилась, за дьяконом,

сидящая на земле фигура, понурая, с опущенным лицом. Что-то незрячее и привычно-скорбное чувствовалось в позе сидящего. Выявившись на миг в огне пожара, он снова слился с тьмою — как ее немая и жуткая греза.

— Сеня, — сказал дьякон.

Тьма молчала.

— Помнишь, Сеня, где большой амбар? — сдержанно басил дьякон, словно сообщал что-то таинственное, — самый большой амбар... помнишь? Пыль над ним... муку разбирают. А людие-то мечутся, людие-то... как чертяки в аду. Вон, вон бежит с головней, ишь ты... как оглашенный машет головней-то. В амбар, в амбар сует... эх, Сеня, будет, брат, дело. Все попалят, ей-Богу... начисто... Пустое место останется, Сеня, вместо экономии. Такова слава мира сего. Был болярин Завидов знаменит и славен... а что останется? Прах... Как сказано в писании: — «прейде и не найде ктому места своего?». А где правильность? Как разобрать? По моему рассуждению это неправильно: — жечь! Взять бы в свое пользование и дело с концом: народное-мол достояние... а болярина в город отправить и пенсион ему назначить по справедливости. А то люди точно с ума посходили: всюду жгут да раззоряют. Воистину яко меч Господень стал над уездом.

Дьякон философски склонил голову на плечо.

И задумался.

Потом сказал потихоньку:

— Полагаю так, что старуху-то генеральшу вынесли из дому... не оставили-же гореть?

Тьма отозвалась загадочно:

— Кто знат.

— Как не стыдно так говорить, Сеня, — возмутился

П Р И З Р А К П Р О Ш Л О Г О

дьякон, — ведь человек-же. Раззорять — раззоряй, а жизни не трогай: она божий дар, как можно отнимать. Да-а, ведь я вспомнил: ее еще вчера, генеральшу-то, слава Богу, в город отвезли... знать предупредил добрый человек.

Он полуобернулся к мутному багрянцу опушки.

— И за что только, Сеня, ты их не любишь?

Тьма проворчала:

— А ты?

— Что?

— Ты их любишь?

— По человечеству... — начал дьякон.

Он призадумался.

— По человечеству оно пожалуй, конечно-бы, надо, — все-таки добро горит...

И засмеялся.

— Да уж больно горит-то весело!

Помолчал немного, заговорил опять таинственно.

— Правду сказать: скареды они. Особливо генеральша. Го-о-рда-а... как митрополит. Бывало служить пригласит — во дни тезоименитства или под большие праздники. Откажись-ка... попробуй. Один священник слетел за это. Ну, хвалишь-хвалишь всех святых, все небеса потревожишь для ее милости, — да с коленопреклонением все, благочестиво и долго-временно... а она отвалит зелененькую, трешку, — дели как хочешь. А потом батюшку в столовую пригласит, — на кончике стула посидеть, как он выражается. Дьякона-же... меня-то... на кухню.

Дьякон негодуяще крикнул.

— Ха... разве на мне не та-же благодать!

Тьма молчала.

Лес снова притаился, не шелохнет ветка. Поляны

вспыхивали и пятнами, полосами, выступали из тьмы, — словно тени гигантов пробегали по ним, беспоконных, потерявших дорогу.

Внезапно тьма угрюмо заворчала.

— Бабку мою при тебе хоронили, дьякон?

— При мне, Сеня, а что?

— Стало-быть помнишь ее? Вот она рассказывала: при крепостной зависимости ее силком замуж-то выдали. Приказал барин, — и шабаш. Плакала... в церковь без памяти внесли. Вот как они делали. Нешшасна была бабка-то. Ен, дед наш, царство небесное, оголтелый был: дракун и пьяница. Свечку бабка-то поставила — как он в пьяном виде в канаве потонул. Да что бабка: кабы ты, дьякон, порасспросил, — полдеревни таких-то. Девки-то бывало... все перепорчены. Тетку Макариху знаешь, старуху-побируху?

— Знаю, — угрюмо отозвался дьякон.

— Раскрасавица была, по всей волости. Барин-то и испробовал ее. Да как узнал, что у ей жених есть, и любовь стало-быть промеж них, — его в ликрута угнал, ее на конюшне выпорол, да за пастуха, Еремея-старика, замуж отдал. Вот она с тех пор... и попортилась. Человек как человек с виду, а все ходит по дорогам, да Володю кличет... ждет все его.

— Какого Володю?

— Жениха-то. Уж ей за девяносто... и дело было назад лет семьдесят... а все помнит... одно и помнит...

Тьма примолкла.

И снова всплыло ее угрюмое ворчанье.

— А с землей наше дело, дьякон, знаешь?

— Как не знать.

— Ну, скажи-же, дьякон, есть Бог на свете?

Дьякон ответил с крутой уверенностью.

— Есть, Сеня.

— Так где-же его правда? Ведь у генерала две с половиной тысячи десятин земли, а наша Завидовка на трехдесятинном наделе живет. Дедам трудно было... а нам-то. Только луг у речки и жить давал. Только луг и кормил. И лугу-то того всего шестьдесят десятин. Чему позавидовал? Суме нищего? Ведь у нас присягу-бы каждый принял: наш луг искони был.

— А план?

— А план, дьякон, действительно что утерян. Так что из этого?... Дознал это генерал. И пристал: — мой луг. Пошли суды да палаты, двенадцать лет тянулось дело. Сколько денег издержали, в нищету вошли через это дело. И присудил суд: — земля генеральская. Как стерпеть обиду такую? Куда только общество ходков не посылало за правдой своей... нигде ничего. Приехали землемеры значки ставить. Вышел стар и мал к лугу: — не дадим. Прогнали землемеров. А тут косьба подошла, косари господские пришли. Прогнали и косарей. На ту пору генерал войско из губернии вытребовал. Пришла рать-сила великая... солдаты... с винтовками, — «Уходи, отцы, не то стрелять будем». Стыдят их мужики. Бабы с младенцами на руках вперед вышли, поднимают младенцев-то: — «убивайте всех, говорят, один конец»... А управители на конях с плетками набрасываются, ругают матерно. Мне в те поры... двенадцатый шел... и стоял-то в стороне я. Налетел управитель, — плетью хватил... перешиб переносицу. Вот... глаза-то... глаза-то мои... слышь, глаза-то...

Слова рыдающей жалобы лились из тьмы и растворялись в ней.

П Р И З Р А К П Р О Ш Л О Г О

— Глаза-то... один в ту-пору-ж... вытек... а другой...

Шум упавшего дома достиг опушки.

Головни летели во все стороны, вихри искр взвились к самым тучам, багровым и тяжелым. Дьякон вдруг набрал воздуху полную грудь и во всю багровую мглу ночную зычно и мрачно затянул, словно над громадной могилою:

— Ве-е-е-ечная па-аа-а-амя-я-ять...

1917 г.

В МИРУ ЧЕЛОВЕК.

Председатель Земельной Управы времен Керенского, Петр Ливоныч, выехал в уезд разбирать тяжбы крестьян с помещиками. Помещики забрасывали его письмами с просьбой о помощи, жаловались слезно или гневно, что крестьяне не позволяют лес рубить для отопления домов, портят сады, расхищают огороды. А иные жаловались на поджоги и бесчинства. Звонили ему помещики и по телефону из многих мест уезда. А крестьяне загадочно молчали.

Под звон колокольчиков Петр Ливоныч угрюмо думал о надвигающейся из других уездов волне погромов и о том, что нет у него помощников, что нет вообще людей дела вокруг него... и о невозможности примирить непримиримое. Не выходил у него также из головы разговор с доктором накануне. Доктор был уже не молод, но отличительной чертой его была непоколебимая, чисто юношеская вера в народ. Даже теперь, когда пронеслись по земле беспорядки, пугавшие Ливоныча, доктор продолжал уверять, что это —

— Творчество красоты.

— Творчество... чего? — удивился Петр Ливоныч.

И рассмеялся не без злобы.

— Библиотеки-то жгут?

Доктор вспыхнул.

— Конечно, вскричал он, — это бессмысленное варварство... кто же говорит! Но ведь должны мы

наследство веков изжить? Народ-то не тот — каким мы хотели-бы его видеть? И как-будто поруганы мечты народников о великой народной душе? Но нельзя-же, дорогой мой, смешивать факта с возможностью. В факте — вся тьма векового невежества, весь ужас неизжитого крепостничества и долгого, долгого, позорного, бессмысленного и упорного, воистину самодержавного убийства души народной. В возможности-же — рост и расцвет освобожденной души, полной обаятельных откровений красоты. Но помните, Петр Ливоныч, что надо самим воспоминаниям о прошлом умереть, что-бы изменился лик народа.

Вспоминая эти слова, Петр Ливоныч угрюмо вглядывался в сумрачное небо и шептал в тоскливом недоумении:

— ... Лик народа? ...

Повозка шумно тарахтела по ухабам и выбоинам неровной дороги. Ямщик, уже седой мужик, не переставал ерзать на облучке повозки, все оборачивался и бесконечно рассказывал. Рассказы его были настоящие ямщицкие: о старых временах, о привольном барском житье. Он был живой хроникой этих мест, знал всех господ по округности по именам их, — живых и умерших много лет тому назад, — знал жен их, своячниц, сестер и всю городскую родню, и кто с кем жил, и кто у кого жену отбил, и у кого какие были слабости. И видно было по рассказам его, что господская жизнь представлялась ему привольною и бесшабашною, бестолковою и озорной. То и делали господа, что сновали по дорогам, без всякой надобности, ругали и били ямщиков ...

— Не подай-ка во время, он те-е-е-е ...

Играли день и ночь в карты, пили без просыпу

и волочились за чужими жонами. Вся скандальная летопись уезда хранилась в его мозгу. И все, — что осталось у него от соприкосновения с этой жизнью, — были воспоминания о поднесенной чарке водки да о разухабистых типах, любивших ухарскую езду, — к ним он относился с уважением.

— Ежели рассказать тебе, Петр Ливоныч, — возбужденно оборачивался он, — как мы раз скакали с ендагуровским барином, — эх ты-ы-ы... как головы уцелели. Жена у его сбежала с юнкером. Наталья Миколавна. По третьему году и жонаты-то были. Прибежал он в ставку, лица на ем нет, лохматый весь.

«Лошаде-е-е-ей»!... На содержателя ногами топает... признаться, и мне морду разбил. Как бес. Лошадей в момент подали. Ох... Спина моя знает кулачек-от его. Лете-е-е-ли. Поверишь, — не мы скакали, — кусты, деревья, столбы мимо нас неслись как птицы в бурю. А деревня-то... сон: мелькнет и нет ее. Гуся переехали, мужика с телегой в канаву опрокинули. А барин—от... как мешаной, только вопит: — «гони-и, го-о-о-они»!... И все с собой-то это, знаешь, разговаривает, и все грозитя: — «только-бы догнать, ра-а-справлюсь с ними»... И пиштолет это вынет из курману, в воздух выпалит... зверь. Жуть меня берет... пригнувшись **сизу на козлах**-т нажариваю лошадей — аж с тех пар валит. И думал я так, что бесприменно он убьет ее. А как догнали... как увидел он ее... пал перед ей, понимаешь, на колени... и заплакал как малое дите. Даже и меня в те поры слеза прошибла...

Петр Ливоныч, занятый собственными мыслями, не вслушивался в рассказы ямщика, но при упоминании о ендагуровском барине превратился в слух и внимание:

ендагуровский барин известен был тем, что отдал всю землю крестьянам, оставив себе только барский дедовский дом, да обширный парк при нем и плодовый сад.

— Что-же, вернулась она к нему? — заинтересовался он, — ведь они теперь вместе живут, кажется?

— Погоди, — обернулся ямщик, — я тебе все расскажу. Дядя Иван все знает. Ведь я сам ендагуровский. Вот, понимаешь... плачет ен это перед ей. А юнкер в сенцах схоронился. Только смотрю это я: и она заплакала. Потом меня из горницы услали, а спустя мало покликнули юнкера туда. А потом он ее на подводу с юнкерем-то усадил, да понимаешь: и перекрестил на дороге-то. Чудные ведь они, господа-то... ха! Ништо их разберешь! И поехали мы наза-ад. Уж ехали-то шажком, как покойника везли, а барин мой сидел как мешок с овсом. Доехали до деревни. — «Заворачивай к трактиру». — Пойдем, говорит, дядя Иван, подкрепиться немного, дорога-то дальня. А сам как сонный. И слова какие-то не те говорит. Подкрепились мы... так... што не знай куды и кони шли. Уж потом в возке-то рядом сидели, не разобрать, — который барин, который дядя Иван... песни пели с им. А деревень-то на пути много... сутки домой ехали. С тех пор он, Ливоныч, совсем переменялся, не узнать. Сначала пил. Месяца два здо-о-рово крутил. И в бою бывал...

— В каком бою?

— С кумпанией. При мне дело было. На шести тройках мы их как-то возили, в лес, кумпанию-то. Пи-и-и-ли-и-и... И вот задела его каким-то словом про Наталью Миколанву. Понимаешь, — быков я бешеных видал... ку-у-да-а... Оглоблю оторвал у тарантаса.

Прет, не видит ничего, только свист идет — оглоблей-то машет. Кумпания... кто по деревьям, кто в речку мырнул. Насилу утихомирился. А потом бросил он пить, заперся у себя в комнатах, не выходит никуда, оброс волосом, стал свиду как пустынный. И все сидит книгу читает, все книгу читает. И так-то, Петр Ливоныч, годков двенадцать прошло. Поехал он раз в город.. смотрим: с Натальей Миколавной вернулся. Стала она черна да худа. Спервых-то все хворала, не видать ее было. Раз позвали меня к ей. Шол я, шол по горницам-то... завели меня в упомещение. Не поверишь, Петр Ливоныч, и какие там есть стены, — не разберешь: сверху до низу книга. Так... книга к книге... вплотную. И столько этой книги... столько книги... аж жуть берет. И дух от ее, слышь, от книги-то — будто кожей воняет. А посередь книг Наталья Миколавна: лежит закутана. И на коленях у ей книга. — «Ты, спрашивает, дядя Иван, руку занозил сказывают?» «Занозил, говорю, да мы к этому привышны». — «Нет, говорит, вот я тебе плястыря дам, непременно прикладывай, а то рука разболится.» Ну, стал я прикладывать... и впрямь помогло. А потом, понимаешь, как выходить-то она стала, — худенька така и свиду как есть монашина, — стала она мужиков наших полечивать. Ничего... Помогает. Стало-быть снадобья знает... мотри книгу-Гогу прочитала.

— Какую Гогу?

— По коей господа учатся. Потому они, сказывают, над нами и силу забирают. Чудные ведь они... ха. Ништо их разберешь!

Ямщик замолчал, поправил шлею на кореннике и пустил лошадей шагом, а сам вынул кисет, принялся

делать «цигарку». У Петра Ливоныча бродили смутные мысли.

— Что-же ты, дядя Иван, про землю-то мне не рассказал, заговорил он, — ведь, говорят, ендагуровский барин крестьянам всю землю отдал?

Ямщик принялся раскуривать.

— О-отдал, — подтвердил он.

И вдруг возбужденно обернулся.

— Да ведь как и не отдать-то, Петр Ливоныч? Ежели по справедливости-то? На каком наделе сидела Ендагуровка? На душу и двух десятин не приходилось. Тощи были, нищи были.

— А теперь поправились?

— Теперь, слава Богу, ничего, жить можно с той поры стало. Это еще до Натальи Миколаевны было, — как в бегах она была. Пришел барин на сходку: — «так и так, говорит, старички, берите у меня всю землю, дарю ее вам». — «Как так?» «Да так, говорит, отдаю в полное ваше владение на вечные времена». Старики ажно в испуг пришли. Шумели, шумели: — «брат аль не брат?» Что у барина на уме... поди-ка разбери. Да ведь и так рассудить, Петр Ливоныч, — вот я тебе лошадей подарю... так дуром, за здорово живешь. Что ты о дяде Иване подумаешь? Выжил мол старый пес из ума... альбо обмишулить хочет. Ходоков старики-то посылали в город, к аблокатам. Говорят аблокаты: — «берите». Ну, взяли... все честь-честью, дарственную запись получили. А все-же долго смущение было: вдруг отберет! Ведь и ты на лошады-то моих ездить будешь, а все думку держать: — отберет чорт. Ну, старики решили: костями ляжем, а уж назад не отдадим. Годов пятнадцать прошло... ничего, живем по хорошему. Очень старики барина

уважают. Барин хороший, благородный барин. Язык не повернется плохое сказать. Ведь так рассудить: ништо другой-бы отдал? Они, брат, землю цепко держут. А ведь ежели по правде-то рассудить, Петр Ливоныч, каки таки их права?

— Как какие права?

— А так. Солнце божье и небо божье. И земля — божья. Реки, леса... все божье.

Он как-бы пришел в возбуждение от собственных слов и даже слегка взмахнул руками.

— Сказывают: в давние годы никаких господ не было и во всем было хрестьянское владение. Пришол, знаешь, тут солдат с хронту... Вдовуху Микулину знаешь? Второй дом с краю...

— Ну?..

— Сын ее. Заслужонный. Егория имеет. А руки нет. Говорить учнет, — слеза прошибает. — «Война, говорит, из-за того пошла, что господа из-за земли передрались. И у немцев-то, слышь, господа, и у хранцюзов. Не было-бы господ, говорит, и войны бы никогда бы не было, и наборов бы не было, солдатчины-то стало-быть. Надо, говорит, господам конец положить». Вот как говорит. Умственно говорит. А ведь и правильно... ежели рассудить-то... Петр Ливоныч?

Петр Ливоныч нахмурился и промолчал.

Смолк и ямщик, задумавшись.

Одна упорная мысль томила Петра Ливоныча, он потихоньку спросил.

— А пойдут ваши мужики барина раззорять, дядя Иван?

Ямщик искося быстро взглянул на него, отвернулся и сказал неопределенно:

— В чужу душу не заглянешь.

В М И Р У Ч Е Л О В Е К

— Ну а ты? — уже вскричал Петр Ливоныч напряженным голосом.

— Чего эта?

— Ты... пойдешь? Вот ты меня знаешь, я ведь из здешних-же мест. Скажи мне по чистой совести: пойдешь?

Ямщик с каким-то лукавым смешком в глазах взглянул на Петра Ливоныча, погнал лошадей, с криком взмахивая кнутом, потом проговорил, как-бы отвечая на собственные мысли:

— Я... в миру человек. Ништо я... што-ж... ежели все...

И замолчал.

1917 г.

ДРЕВНЯЯ ТЯЖБА.

На зеленой мураве улицы, у правленского крыльца, вокруг кособокой повозки председателя Земельной Управы, тесно грудилась и гудела серая толпа лохматых, сивобородых мужиков, одетых в посконную и иную рвань. Разноголосый беспорядочный гомон их убегал вдаль по широкой улице за околицу к пруду, и дальше — к темному и угрюмому барскому дому, понуро косившему окнами на гомонящую улицу сквозь зеленую заросль сада. Гонибесов сидел на облучке повозки и, нервно покуривая, старался выяснить — почему крестьяне не хотят давать дров помещице. Уже битый час длился разговор, а он все еще не мог понять сути дела, казалось-бы такого простого. Мужики его знали и верили ему, говорили с ним, казалось, на чистоту. Но как-будто было и так — как они говорили, а как-будто и не так. Что-то не договоренное было в их словах и выкриках, что-то тайное, чего они не умели или не хотели высказать.

— Знамо без дров нельзя, — гомонили они, — без дров не проживешь.

Начинался перебивчатый говор.

Гомон выростал.

— Меркуловски-то у помещика половину свезли.

— Свезу-у-ут...

Кто-то маленький выбивался из толпы.

— Мы што-ж... мы ничаво... мы завсягда...

Большой седой басил грубо.

— Мы што-бы порядок... для порядку мы...

Сход ревел.

— Зна-а-мо-о...

Из-за спины кричал кто-то нараспев тенором:

— Имеет право только сухостой, а у ей сырой нарублен. Она с весны много рубила, куды девался?

— У ей сухостою-то возов тридцать лежит.

— Ежели местность указать где рубила — десятин двадцать.

— Припря-а-тала...

А маленький все выбивался из толпы.

— Мы што-ж... мы чать... мы ничаво...

Сход подтверждал:

— Зна-а-амо.

Наконец порешили: выбрать депутатов и идти к помещице, что-бы совместно обсудить это дело, а кстати осмотреть и запас дров. Выбрали старосту, — худого, высокого, болезненного вида мужика, у которого была манера при разговоре слегка кланяться, словно его ударили по животу. Выбрали так-же большого седого и еще того маленького, что все выбивался из толпы, — он оказался комитетчиком. Однако за депутатами пошли и все шумящею толпой. А за толпой, раскачиваясь на слабых ногах, плелся приземистый сутулый старик с широкой седой бородой, — ему на вид было лет полтора.

— Поликарп, — кричали ему, — и ты потащился?

Он верещал:

— И я, ребятушки.

— Дорога-то дальня... мотри не рассыпся.

Добродушно смеялись.

Встретил толпу «управитель», пожилой мужчина из крестьян, по типу барский кучер. Он провел мужиков

на задний двор усадьбы, где были сложены дрова. Мужики рылись в сухостое, стучали палками по бревнам и уверяли, что это срублено в хороших участках, а управитель спорил, ругался с ними и укорял их, что они забыли Бога. Потом пошли к дому и встали тесной толпой перед крыльцом на барскую веранду. И, пока Гонибесов разговаривал с помещицей в уютной столовой дома, гомонили сдержанно и говорили шопотком.

Помещица, графиня Марья Львовна, приняла Гонибесова ласково, чуть-чуть заискивающе. Марья Львовна была женщина не молодая, но еще очень красивая, полная, плавная и в походке и в говоре. Ее покойный муж, довольно известный поэт консервативного лагеря, в свое время был предводителем дворянства и пользовался влиянием в уезде. Когда-то жил широко и бывали у него в усадьбе такие лица, как В. Соловьев и граф А. Толстой. Графиня была также немного причастна к литературе, а сын ее, молодой поручик, уже имел, как поэт, некоторое имя в декадентских кругах.

Графиня жаловалась.

Она говорила, что всегда была в прекрасных отношениях с крестьянами. И — что с ними такое случилось, — не могла понять. Она уже купила в городе дом, по примеру прочих помещиков, да переехать в него сейчас нельзя, придется зимовать в усадьбе. А дров не дают.

— Да много-ли у вас печей? — спрашивал Гонибесов.

— Много-ли...

Она начала соображать.

— В доме всего шестнадцать печей. Да ванная отдельно. Людская... три печи. Кухня...

Сухая экономка, в очках, с тонкими губами, добавила сухим и немного злым голосом.

— Прачешную, Марья Львовна, не забудьте.

— Помню, Зиновея.

— Кучерскую.

— Да, да. И еще оранжерея отопляется. Всего... двадцать четыре. Ну, половину дома, шесть печей, можно-бы и изредка протапливать, да там все ценные вещи собраны. Ведь библиотека одна занимает две комнаты, — там книги — за сотню лет. Да картины... очень ценные есть, старинные. Две комнаты под картинами. Ведь все это в город перевезти, — так время нужно. Как-же без топлива-то?

— Ведь там, говорят, у вас возов тридцать есть?

Графиня слегка повела полными плечами.

— Это-же на один месяц.

— Да, понурился Гонибесов, — но ведь как-же им это об'яснить, графиня? Ведь вашим запасом дров... вы простите меня, я на их точку зрения становлюсь... можно добрый десяток хат долгое время протопить. А тут... на один дом... где живут трое-четверо...

— Уж вы как-нибудь постарайтесь уговорить их, дорогой Иван Василич!

— Да я...

Он встал.

Графиня надела кацавейку и вышла на крыльцо.

Она стояла, красивая и ласковая, перед серой, грязной и лохматой толпой. Ее вкрадчивая манера говорить здесь выявлялась еще резче. Она говорила ласковым, неискренно-сердечным тоном. А позади нее, как тень ее души, стояла худая Зиновея и, сложив руки на животе, зло сверкала очками.

— За что-же вы меня обидеть-то хотите? — гово-

рила графиня, — всегда ведь так хорошо жили... что я вам сделала?

Слова ее ласково таяли.

— Без топлива как-же... уезжать, значит?

Толпа сдержанно гудела.

— Зачем-же... ништо гоним.

— Жи-и-иви-и-и...

— Живи-и с Богом.

— Ништо мы...

Маленький комитетчик все вытáлкивался из толпы и говорил привычные слова.

— Мы што-ж... чать мы... Господи!

Графиня стала еще ласковее.

— Так значит можно рубить, старички?

Гомон вырос.

— Ка-ак можно.

— Рубить нельзя-а...

Графиня заговорила нежно.

— Не рубить — так где-же взять-то?

— У тебя запасено.

— Да ведь там на месяц только... зиму-то как прожить?

Толпа успокоительно гудела:

— Проживе-е-ешь.

А худой староста чему-то обозлился и внезапно, судорожно кланяясь, заговорил повышенным и почти грубым тоном:

— А как мы живем? Дети на войне... всех по-забирали. Коих, слышь, поубивали, работников не стало. Вам-то што-о...

Графиня стала совсем мягкой и нежною.

— Ах, Лука, Лука... что я сделала тебе? Не

ДРЕВНЯЯ ТЯЖБА

я-ли всегда помогала тебе в нужде? Вспомни-ка. Али старая хлеб-соль...

Лука сдержанно закланялся.

— Да я што-ж, — сказал он тихо, — как мир.

Большой седой забасил.

— Мы для порядку. Што-б порядок был. Без порядку ништо можно? Ты будешь рубить... мы-то бы ничего... а что соседни деревни скажут? Марьевка, Макарьевка, Выжига? Ты зачнешь рубить — все с'едутся, ничего от леса не останется. В чистую сведут. Правда, старики? — обернулся он к толпе.

Толпа загудела:

— Зна-мо-о.

И стихла.

Графиня тоже мочала, смотря на Гонибесова впро-сительным и просящим взглядом. Тот слегка пожал плечами и потупился. Зиновей сердито сверкала глазами на мужиков и что-то зло ворчала. В это время из толпы тихий голос произнес:

— И у нас вот мосты не чинены, ездить нельзя стало.

В глазах графини мелькнул огонек.

Она оживилась.

— Да я вам на мосты-то дам.

— И вот колодцы еще...

— И на колодцы дам.

В толпе пошел разговор.

Он все выросал, превращался в миролюбивый спор, впрочем уже о подробностях починки мостов и колодцев. Высчитывали — сколько надо бревен. Графиня молча слушала, не вступаясь, тонкая улыбка чуть бродила по ее губам. Гонибесов отметил перемену настроения и заговорил:

ДРЕВНЯЯ ТЯЖБА

— Так дадите дров-то, граждане?

— Без дров-то как-же, — загудели все, — конечно-што ежели... знамо.

— И што-бы вот ежели мосты...

— И колодцы.

— За одно стало-быть.

— Поговорим в комитете, знамо.

А маленький все выталкивался.

— Ништо мы... чать мы...

Гонибесов подумал, что в сущности графиня и мужики прекрасно понимают друг друга. Он уже хотел простаться и ехать дальше, вполне довольный достигнутыми результатами, как вдруг неожиданное происшествие повернуло все в другую сторону. Графиня, очень довольная, вступила с мужиками в ласковую беседу, просила, что-бы не теснили ее, потому-что вот скоро соберется Учредительное Собрание и тогда все равно отойдет все к крестьянам.

— Все ваше будет. А ведь у меня и останется, может быть, только домик, да сад, где я, вдова, — она шутливо улыбалась, — буду век доживать. Так зачем-же садик-то портить у меня?

— Ребятишки... известно, — гудело в толпе, — сказать надо... несмысли.

— Вот еще в оранжерее стекла побили.

— Ишь ты...

— А ведь там у меня цветочки, единственная радость мне, вдове. Кому это мешает? Ведь оранжерейка-то старинная, память дорога... при дедушке строена.

— Ка-а-кжа-а, — внезапно раздался дребезжащий старческий голос, — по-о-о-мню.

Древний Поликарп как-то незаметно оказался впе-

реди толпы. Он смотрел на графиню какими-то тусклыми точками вместо глаз и густые седые брови его двигались, а широкая борода словно раздувалась от ветра. Он улыбался беззубым ртом и говорил добродушно.

Но графиня насторожилась.

— Помнишь?

— Помню, помню, матушка... какжа. Как не помнить? При мне строилась... ланджерейка то. При мне-е. Ведь я тогда барский плотник был. И сторожить меня барин-от, Ляксан Петрович-то, приставил... што-б дошщечки-то и все... што-б не пропадало. А на ту пору три дошщечки и пропади. Как пришел он, барин-от, как пошо-о-л руга-а-а-ть... су-у-ррезный был, покойничек, царство небесное. — «Так, говорит, ты, ссо-о-бака, хозяйское добро сторожишь? Подать, кричит, сюда чепь!»

Графиня нахмурилась.

— Какую цепь? — проговорила она сквозь зубы.

А мужики молчаливо слушали.

Поликарп как-то радостно засмеялся, обнажив беззубые десны.

— Соба-а-чью чепь, матушка.

Он трясся от смеха.

— Вот и приковали меня, слышь, за ногу... к столбу-то ланджерейному. А барин-от и кричит: — «лай... лай, пес, лай!» Встал я на четвереньки... вот так... да и давай...

Поликарп, кряхтя, с трудом согнувши столетнюю спину, коснулся земли руками.

И залаял хрипящим лаем.

— Ввав... ввав... вва-у...

Марья Львовна растерянно и нервно посмотрела по сторонам и опустила глаза.

А старик все продолжал свои воспоминания.

— Ввау... вва-у, — лаял он, с трудом поднимаясь и еле разгибая спину, — а барин-от кричит: «плохо лаешь, со-о-ба-ка, лай еще». Да аглицкой плеткой... ка-а-а-ак да-а-а-аст промеж плеч-то... ка-а-а-ак... аж рубаха в ключья. Ка-а-а-а-ак...

— Дедушка, дедушка, — тихо и взволнованно заговорила графиня, — что уж старое вспоминать... мало-ли было тогда дурного. Да ведь я-то...

Но старик не слушал ее.

Он повернулся к толпе и, поднимая руки, говорил радостно :

— Промеж плеч-то... ка-а-ак... промеж... плеч...
Весь трясся от жуткого смеха.

— А барин-от кричит: — «лай»! А я опять...

Старик с трудом потянулся руками к земле, что бы встать на четвереньки.

— Ввав... вва-у! — жутко раздавался его хрипящий лай среди общего молчанья.

Графиня стояла бледная, как полотно, и не поднимала глаз. Гонибесов бросился к старику. Схватил его под руку, поднял его.

— Довольно, довольно, старик. Уходи! Тут о деле говорят, а ты...

Старался втолкнуть его в толпу.

— Уведите его.

Толпа хмуро расступилась и молча приняла старика в свою жаркую и потную массу. Но где-то в сердце ее старик все еще не мог успокоиться и бормотал :

— Ка-а-а-к-жа... по-мню! Промеж плеч-то... ка-а-а-ак...

Закашлялся.

Смолк.

И все молчали.

Гонибесов заспешил:

— Ну, граждане, дело значит решенное: дров дадите? На том и кончим, а я поеду.

Медленно и как-то хмуро вырос говор.

И вдруг заговорили все враз.

— Ка-а-к мо-о-жно...

— Ништо мо-о-жно!

— Теперича три деревни: Марьевка, Макарьевка...

Выжига...

— На чисто сведут!

— Мы што-бы порядок.

Маленький выталкивался как дергун:

— Мы што-ж... чать мы... стало-быть нельзя...

Го-осподи!

Гонибесов с удивлением посмотрел на них и перевел смущенный взгляд на графиню.

... Он так и уехал — не добившись ничего...

А через неделю великолепное имение было выжжено до тла.

Как потом объяснил Гонибесову староста:

— Мужики, стало-быть, так решили: што-бы некуда было вернуться.

1917 г.

ЭРЭСЭФЭСЭР.

ОБЛИК МОСКВЫ

1

Год 1919-ый.

Москва — особенный город.

В прошлом — это город красной пощади, красного крыльца, красных ворот, красного звона. Теперь он весь красный, в мире его зовут:

« К р а с н а я М о с к в а » .

Красное, в смысле «прекрасное», обратилось в прошлом просто в красное под кровавой пятой растущего деспотизма. Красное теперь — обратится в прекрасное. В этом наш русский исторический процесс. Москва естественно, выявив душу народа, стала красной. И бросила красное зарево на всю страну. Ведь Москва — сердце России. Красная площадь... и на ней Лобное Место... разве это не символ России? И потому на Москву смотрят с трепетом. Москва сейчас единственный город в мире. Выше Парижа, Лондона, Нью-Йорка. Революция вздыбила ее на высокий холм и на нее устремлены взоры всего мира. На нее смотрят с страстной надеждой одни, с клокочущей ненавистью другие. Но смотрят и не могут оторваться. Уверены, что в ней решаются судьбы мира. Восток кричит ей приветствия, Запад дышет злобой, Восток создает о ней легенды, Запад клевету.

И все ее боятся.

Она живет, одинокая, отверженная миром, ненавидимая даже своими и трижды ими любимая.

Великая... и ужасная.

И живет — по особенному.

Ни один город в России не живет так. Одни города смотрят в небо тусклыми глазами, умирая. Другие бушуют и шумят, мнуттся и волнуются в восстаниях. Она — спокойна. Все время, с разгула октябрьских ночей, смотрит в будущее с крепко-сжатыми губами.

Она ждет.

Она однажды доверилась и ждет.

Она верит.

Быть может ни один город в России не верит так. Ее щеки землисты и впалы от истощения, ее глаза горят голодным блеском. Но она пристально смотрит вдаль на туманные очертанья обещенного ей рая, вожжами выраженного в резких и жестких формулах. Она верит в формулы. Она молчаливо жует свой голодный паек и, глядя по головке ребенка, говорит ему:

— Потерпим...

Тощими руками ломает заборы и деревянные дома в холодные зимы. Ютится в конурах, жутко уплотненная. Тонет в грязи. Извивается то в тифе, то в холере. Терпеливо змеится по суткам в очередях. Скрипя зубами разговаривает с комиссарами, ругается с их секретарями, ворчит на советских барышен. Обряжает покойника в мешок и тянет его, согнувшись, на салазках к месту упокоения. Из веревок ботинки плетет. Из картофельной шелухи котлеты стряпает. Из галок жаркое prepares. На голодных собак засматривается... да уж мало их что-то стало. Лошадки лакомством стали, не достанешь. Подчас из выгребных ям советских

О Б Л И К М О С К В Ы

домов остатки выгребает, что поделаешь — семья. Иногда впрочем и в роскошь впадает: шоколад из семечек делает, из отрубей пирожное. В церковные праздники прислушивается к звону колоколов, вспоминая что-то полузабытое, но старается делать вид, что не слышит. В гражданские праздники бродит усталыми ногами, в стройном порядке, по пустынным улицам с полуразрушенными домами, цветит воздух красными знаменами и плакатами, поет разрозненными голосами революционные гимны. Слушает хмуро на митингах знаемые призывы к терпению.

Недоумевает.

Прежде в церквах говорили:

— Терпи, христианин... рай небесный будет тебе наградой.

Теперь на митингах в речах говорят:

— Терпи, товарищ... впереди земной рай.

Верит :

— Так надо.

Опустив голову, угрюмо соглашается:

— Потерпим...

Но иногда, потеряв всякое терпенье, ворчит и речет на своих вождей, требуя их к ответу.

Такой случай был с Калининным.

К а л и н и н .

Всероссийский староста Калинин человек тоже особенный. В нем — Москва. Он из толпы не выделяется. Он и толпа — одно. Ходит в толпе, от толпы не отличишь. В коричневом пиджачке, что лавочники носят, рыжеватая бородка. По виду крестьянин, по профессии рабочий, по положению — глава государства: председа-

тель ВЦИК. И зовут его Михаил Иванович. Один из видных коммунистов, он меньше коммунист, чем хороший человек, — «правильный человек», как отозвался о нем один рабочий. Не о многих это скажешь. Принимает он не в Кремле, а в доме напротив. В приемную попасть просто: пошел и вошел, даже часового у входа нет, которые в других учреждениях требуют пропуск. В приемной всегда толпа: крестьяне, рабочие, бабы, девочки с портфелями. Пройдет в толпе и не узнает никто.

Приемная разгорожена барьером.

У барьера тесно ждут.

Выйдет из кабинета за барьер, облокотится на него, всех терпеливо выслушивает. Тут-же резолюции кладет, дает советы. Но и за барьер люди вламываются, кольцом окружают, бумаги в руки суют, у каждого своя нужда.

— Отобрали у нас в деревне общественного жеребца.

— Кто?

— Окружная комиссия.

— Да как-же вы это, братцы, отдали... не по закону?

— Что с ними поделаешь, Михайла Иваныч. Явите милость, дайте распоряжение.

— Сейчас напишу.

Баба с подвязанной щекой жалостно плачет.

— Кормилец... Михаил Иваныч, заступись за сироту.

— А в чем дело, тетка?

И несет тетка окоlescицу — про какого-то «лукавого», который ее «попутал» и «выразила» она некое слово

про советскую власть, за что ее теперь к суду привлекают и арестом грозят.

— А что за слово такое?

— Отец родной, да я уж боюсь и повторить-то, — как бы и ты меня не тово...

— Должен-же я знать, повтори, не бойся.

— Да я им сказала: вор на воре сидит, воров погоняет.

Качает Калинин головой.

Кругом смеются.

Человек в защитном цвете торопливо говорит:

— Я из Моршанска, неделю здесь путаюсь. Шесть человек должны завтра расстрелять. Телеграммой еще можно приостановить. Ошибка, невинные, ручаюсь головой своей.

— Пройдите в кабинет, сейчас напишу председателю ВЧК.

И попасть к нему в кабинет просто.

Доложит секретарша, — если не занят — выйдет сам, пригласит, усадит, обо всем расспросит. По делу даст записку к одному из секретарей ВЦИК.

А секретарь уже в Кремле принимает. В Кремль пропуск нужен. Пропуск возьмешь, не пускают и с пропуском.

— Сегодня не принимает.

— Да вот письмо от Калинина.

— Все равно. Говорят вам, товарищ, русским языком: не принимает.

— Позвоните по телефону.

— Не приказано.

Неделю добиваешься и рукой махнешь. А добьешься, да получишь резолюцию с подписью, по учрежде-

ниям уже месяца два ходишь, душу из себя выматываешь.

В этом — Москва.

А с ней и Россия.

Не успевают люди с громоздкой машиной справиться, не слушает она их. Злые, голодные, вертят нехотя ручками да маховыми колесами, кое-как гайки выпавшие вставляют, — трещит и хрипит машина, пугая воздух шелестом «входящих» и «исходящих», «программ», «анкет», «докладов». Завалили горы бумаг все входы и выходы, вся страна ими покрыта.

Сами коммунисты говорят:

— Бумажное хозяйство.

И нет в бумаге ни сердца, ни смысла, ни ума. Человек со стоном и воплем тонет и путается в море бумажных правил, пунктов, примечаний к ним, которыми пытается регулировать по своему жизнь чья-то тяжелая воля, руководимая ограниченным умом. Эта «воля» и этот «ум» вышли из глубин нелепой истории нашей, — истории трех сосен в чистом поле, — и сбили, спутали, на чисто смазали все планы фантазеров — мечтателей, с грохотом вышедших из мира формул и по бумажным текстам и цитатам мечтавших построить новую жизнь обывательскими силами.

Калинин на особицу.

У него есть и ум и совесть.

Ум крестьянина, совесть рабочего пролетария. Говорят, сам Ленин прислушивался к его словам — как голосу народа. Недаром его суют — куда только возможно. Как где трудно, где заминка, туда Калинина. В Кронштадт посылали. На Кавказ ездил, десятки тысяч народа из чрезвычайек освободил и многих комиссаров

разогнал и под суд отдал. В Поволжья с крестьянами власть мирил.

Всюду Калинин.

И вот раз, в Москве... Забастовали рабочие в одном предприятии, надоело голодать. Собрались на митинг и Ленина требуют, чтобы приехал и все им до тонкости объяснил: как, что и отчего происходит. 'А иначе грозят всю Москву поднять. Ленин не поехал а, как объяснили рабочие, Калинина послал.

— Поезжай — дескать, Михайла Иваныч, объяснись с ними, а потом доложь мне, как и что...

Приехал Калинин.

Огромный зал наполнен волнующейся, возбужденной массой. Выходит Калинин на эстраду. Кто-то говорит:

— Слово принадлежит товарищу Калинин.

Калинин начинает:

— Товарищи...

Но буря криков и воплей заглушила его.

— Долой! Долой Калинина! Не хотим Калинина!

Яростные выкрики:

— Ленин обещал. Ленина сюда!

В сплошной гул слились крики:

— Ле-ни-на-а-а...

Напрасно Калинин что-то пытался говорить, хотел это море перекричать, жестикулировал. Наконец махнул рукой, слез с эстрады, пошел и сел на скамейку, среди рабочих. Те посторонились, дали ему место. Зал притих, недоумевая. А Калинин, усевшись, принялся звонко хлопать в ладоши и кричать:

— Ленина... Ле-нина!

Зал совсем стих.

А Калинин все кричит:

— Ле-е-нина-а...

Тут уж смех пошел по зале.

— Говори, Михаил Иванович, что уж там..

Уж и слушать готовы.

— Нет, Ленина хочу, — упрямится Калинин.

И нахлопывает в ладоши.

— Ле-е-нина-а...

Хохот пошел.

Уговорили Калинина, вышел он на эстраду.

— Ну, вот что, ребята, — говорит, — по душе советую: бросьте бастовать. Ну чего вы добьетесь? Арестуют... расстреляют, вот и все. Хлеба все равно нет, где его взять? Вырастет, будет. А пока голодать надо. Давайте-ка работать!

Убедил.

Кричать стали:

— Да здравствует советская власть! Да здравствует Калинин!

Спели Интернационал.

Торжественно, стоя.

И разошлись.

Одни пошли по настоящему работать, по всей пролетарской совести своей, а другие пошли из заводской меди зажигалки делать, — московские базары этими зажигалками полны...

2.

Год 1920-ый

Изменилось лицо Москвы.

До неузнаваемости.

Москва торговых рядов, Китай-города, Москва троек, лихачей, цыган, Яра, широкой масляницы и гостепри-

имного хлебосольтва, — отошла в область предания. Герои Островского разбежались по заграницам, попрятались кто куда мог, разместились по подвалам, оставшиеся тихо умирают в уплотненных конурах. Приспособившиеся к новой жизни уже перестали быть купцами, — они стали спекулянтами и живут шикарно, наживаясь на всех несчастьях, какие только поразили русский народ.

Москва потеряла купеческий облик.

У нее облик советской барышни, то модницы, то голодной, облик комиссара в галифе, юркого спекулянта, жадной торговки, хмурого рабочего. Толсторожий, грубоголосый городской, охранявший Москву купеческую, уступил место вежливому и голодному милиционеру, охраняющему пролетарскую Москву. Город, даже в центре своем походивший на сплошные торговые ряды, блестящий витринами, пестро расцвеченный вывесками, теперь холоден и пуст.

Вывесок нет, — сняты.

Только раны от гвоздей да царапины там, где они были. Поэтому дома, прежде сплошь ими украшенные, похожи на жилища прокаженных, — они в пятнах и язвах и имеют выморочный вид. Витрины и окна голы, пусты, пыльны и за ними зияет пустота заброшенных магазинов и складов. Лишь кое-где затерялась витрина с разрешенными товарами: дамские шляпки да чулки для модниц, — остального нет. Да появились местами новые вывески, однообразные для всей Москвы: «кооперативная лавка № такой-то». В них можно получать остатки бывшего обилия лишь по ордерам для избранных или наиболее юрких.

Старое хозяйство скончалось.

Крепко сколоченное, веками плотно прилаженное

во всех частях, удобное и вежливое, всегда готовое к услугам, всегда все имеющее на потребу «почтеннейшей публики», связывавшее все концы света за единым прилавком, — это хозяйство было приставлено к стенке в один прекрасный день и расстреляно за свою контрреволюционную сущность, ибо надо было очистить место для нового, веками жданного, жадно стремящегося к бытию социалистического хозяйства. Новорожденное дитя Веры и Фантазии разлеглось на московских прилавках, беспомощно барахтает ножками и тупо сосет пустую соску, а его семь и седмижды семь самоуверенных и бесграмотных няnek льют ему в соску собственную слюну.

Ибо обыватель, — вечный, неистребимый обыватель земной коры, — вытеснил революционера и затопил своим тусклым множеством все учреждения, предприятия, даже ряды самой партии.

Трудно выжить при таких условиях.

И дитя, которого мечтая ждали поколения, бьется в перекрученных жесткими и ленивыми руками пеленках, и умирает медленной смертью.

— Завесовнархозили, — как говорят в Москве.

Лицо прежнего хозяйства, благообразно-жадное, можно было раньше видеть на всех улицах и перекрестках улиц. Чтобы видеть новорожденное нужны тучи бумажек и пропусков. Расцвело бумажное хозяйство. Жизнь превратилась в добывание бумажек. То, что прежде можно было достать в любой лавочке, и что есть и теперь в Москве, что доказывают базары, — ныне надо доставать в разных концах Москвы, но сначала надо на каждый отдельный предмет достать бумажку — ордер, если только вы имеете право получить ее, а чтобы получить ее, надо обегать десятки учреждений,

О ВЛИК МОСКВЫ

помещающихся в разных концах города, простоять там часы и дни в очередях, поссориться с советскими барышнями, и в результате... не получить ничего, ибо в лавочке вам зачастую ответят:

— Было да вышло.

— Позвольте, а это вы кому же отвечаете?

— Это комиссару... проходите, не задерживайте очереди.

Так и ходишь по Москве из конца в конец, с утра и до вечера. Соли надо, хлеба надо, чаю надо, ниток надо, чашку надо... На все бумажки доставай и ходи, ходи, ходи — пока ноги носят. Ходишь... и чувствуешь подчас приступы бреда, видишь какие-то сны на яву, порожденные голодом и адской усталостью.

Мне лично в Москве пришлось столкнуться с этим удивительным, фантастическим аппаратом нового хозяйства и испытать на себе все его прелести. Эпизод этот мне рисуется в сказочных чертах.

Сказка о семимильных сапогах.

Развалились у меня сапоги, ходить не в чем стало. Купить не на что и негде. Как быть? Пошел в Совнархоз справки наводить. Долго блуждал из комнаты в комнату, спрашивал молодых людей и барышен. Иные отвечали:

— Это к нам не относится.

— К кому же?

— Не мешайте, товарищ, мы заняты.

И углублялись в какой-то роман французского происхождения или продолжали прерванный веселый разговор.

Иные ничего не отвечали.

Иные отвечали просто:

— Не знаем.

Наконец посоветывали мне обратиться в МПО. Пошел на другой конец города, через всю Мясницкую к Красным воротам. Весна была, дождь шел, мокро и лужи. Пришел в большой красный дом, поднялся в один этаж, в другой, в третий, обошел все корридоры, заглянул во все комнаты. Всюду бумаги пишут, и от руки и на машинках, что то записывают в тетради маленькие, большие и огромные. На полах бумажки, под столами бумажки, в шкафах целые склады бумаг. Все необыкновенно серьезны, деловиты и строги. И никто ничего не знает. Посылают из комнаты в комнату, от стола к столу. Из первого этажа посылают в третий, из третьего в первый. Иные даже проникаются участием и советуют:

— Вы бы сходили к завхозу в тридцать третью комнату.

А там говорят:

— К Начхозу идите.

— Это куда?

— В сорок девятую.

Наконец попадаю к какому-то вообще Хозу.

— Сапоги-и-и, — говорит Хоз удивленно, — зачем это вам сапоги?

— Носить, товарищ. Мои, как видите, разваливаются.

— Это нас не касается, дать не можем.

— Почему?

— Потому что не можем. Вы, товарищ, в каком учреждении служите?

— Я писатель и служу в учреждении, называемом Россией.

— Страхование общество что-ли... таких теперь нет.

— Я, как писатель, служу России, но ни в каком особом учреждении не состою.

— Не состои-и-те?!

Хоз даже откинулся на спинку стула и вытянул ноги от удивления.

— Так чего же вы от нас хотите? Вы сначала поступите в учреждение, и от того учреждения нам бумажку принесите, а тогда...

— А тогда?

— А тогда мы посмотрим. Но сапог во всяком случае не дадим.

Удивительная логика!

Решил пойти к одному знакомому, очень влиятельному комиссару и с ним посоветоваться.

Скоро сказка сказывается да не скоро дело делается. Комиссар жил на Девичьем Поле, на другом конце Москвы. Пошел пораньше, с таким расчетом, чтобы ночевать у знакомых по близости. Ведь в Москве трамваи тогда ходили только изредка, да и то только для избранных, по особым разрешениям, которые надо получать через несколько учреждений. Извозчики же недостижимы по цене, на них ездят только люди в галифе. Вообще — шагаешь по Москве и чувствуешь — какая это огромная дистанция. Современные Скалозубы измеряют ее на автомобилях, Молчалины на извозчиках, а все остальные простые смертные «на паре рваных».

Комиссар принял меня приветливо.

— Сапоги, — сказал он, — это мы устроим. Как, писателю да чтобы не было сапог? Я вам бумажку дам.

Дал бумажку.

Написал ее красными чернилами.

Пошел я с бумажкой с Девичьего поля опять к Красным воротам.

Хоз встретил меня строго.

— Вы опять, товарищ? Ведь я же вам русским языком сказал.

Я протянул бумажку.

Хоз удивленно посмотрел на нее, надел пенснэ, прочитал, посмотрел на обратную сторону, повертел ее в руках.

— Это другое дело, — сказал он решительно, — сапоги вам будут. Сейчас я бумажку напишу.

Написал бумажку.

Пошла бумажка по столам. Одни к ней печать прикладывали, другие номер ставили на ней, третий должен был ее в какую то книгу записать, но его не оказалось, и пришлось его долго, бесконечно ждать. Наконец все формальности закончены.

— Куда-же теперь с этой бумажкой идти?

— Вниз, с улицы угловая дверь, там ордер получите.

Пошел.

Большое помещение, несколько окошечек, у всех очереди. У всех спрашиваю — в какое окошечко с бумажкой обратиться, никто не знает. Пытаюсь в окошечке спросить, строго отвечают.

— В очередь становитесь.

— Да я не знаю-же в которую...

— Не мешайте, товарищ.

Наконец нахожу свое окошечко, но там отвечают :

— Приходите завтра, товарищ, сегодня уже закрыто.

— Да позвольте, еще нет трех часов.

— У нас в два закрывается.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

Наступает «завтра».

Опять бреду по Москве. Опять стою в очереди у окошечка и наконец получаю надпись на своей бумажке — разрешение на выдачу ордера.

Уж казалось бы довольно надписей, нет, — еще надо становиться к другому окошечку.

— Там ордер приготовят.

Смотрю, сорок человек в очереди.

Становлюсь, терпеливо считаю отходящих от окошечка. Ворчат, плачут, жалуются.

— Я неделю хожу, — говорит военный, — все бумаги не по форме написаны, говорят, а ведь ходишь-то по Москве из конца в конец.

Истощенный рабочий ворчит:

— Издеваются!

А старуха плачет, смахивая слезы рукой, в которой дрожат ордера.

— Ведь я человек служилый, что они со мной делают? Две недели ходила, выхлопотала платица на мальчика да на девочку, а они мне ордер то на двух мальчиков дали.

— Ошибка, — говорит военный, — проси исправить.

— Третий день хожу... насилу очереди дождалась. Да нельзя, говорят, исправить — то, надо опять сначала хлопотать начинать...

Наконец моя очередь.

Взяли бумажку, сделали на ней несколько надписей, поставили печать, передали на другой стол, а мне в окно квадратный лоскуток протянули с номером.

— Завтра к тому окошечку в очередь станете, по н^омеру вызовут.

— Как... опять завтра?!

— Сегодня только ордер приготовят, такой порядок у нас.

Прихожу утром рано, стою, дожидаясь, и к трем часам получаю ордер. Читаю: сапоги, по второму разряду, в магазине на Кузнецком мосту. Рад, что недалеко, в центре. Иду... заперто, уже три часа. Прихожу на другой день. Берут ордер, молча читают и без признака улыбки на лице достают с полки и подают мне сапоги.

Смотрю и дивлюсь.

— Это что же такое?

— Сапоги... ведь у вас-же в ордере сказано.

— Ну да, сапоги... но ведь для меня, а это детские сапожки!

— Да, это для семилетнего, — а на вашу ногу нет. Берите что есть.

— Позвольте, а вот там сапоги, — указываю на другую полку.

Там лежат великолепные сапоги.

Впервые усмеваются в ответ.

— Это только по первому разряду, а у вас по второму.

— Кто же по первому получает?

— Особо ответственные рабтники.

— Куда-же обратиться, что-бы по первому получить?

— Едва ли вам это удастся. А впрочем попробуйте сходить...

И началось длинное перечисление учреждений. Я стоял, полуслушал, утомленный, и не мог отвести глаз от

семилетних сапожек, — результата недельных хождений по мытарствам.

Мужчина наклонился ко мне, тронул за плечо и сказал дружелюбно:

— Берите. Пригодятся.

И, действительно, пригодились: когда вскоре уезжал в Сибирь, где-то около Перми променял их на фунт масла.

3.

Год 1921-ый.

Умирает старая Москва.

Много домов разрушено временем и непогодами жизни. Деревянные части в них расхищены на отопление в холодные зимы, стены обрушились и завалили мусором подвалы. Это дома — покойники, уже полусгнившие. А умирающие дома лечить — ремонтировать нечем. Почти все московские дома нуждаются в ремонте, а строительных материалов — один процент, о ремонте надолго забыть надо. Мне рассказывали про один многоэтажный дом. Он уплотнен, живет в нем четыреста человек, — это городок маленький. В нем трубы центрального отопления давно полопались. Кто может, — ставит печки железные в комнатах и выводит трубы в форточки окон. Водопровод не действует, канализация испорчена. Ходят с ведрами, обливая лестницы водой, скользят по ним и падают. А за всякой другой нуждой не побежишь с пятого — шестого этажа во двор, — ищут укромных уголков где придется. Дом загажен, — клоака внутри и снаружи.

Это образы московских домов, умирающих от истощения и заражения крови. Они превращаются в пеще-

О ВЛИИ МОСКВЫ

ры дикарей и печь — «буржуйка» в них как-бы костер номада.

Самый костяк Москвы разрушается.

Дома больны.

Дома голодают.

Дома умирают как и люди.

.... вместе с людьми...

Незаметно, тихо, покорно, с глазами устремленными вдаль неведомого умирает старая Москва. Ее здоровье расшатано в конец. Ее мускулы ослабли: трамваи, редкие и не для всех, еле двигаются, электричество еле горит кое-где. Ее желудки — базары были долго пусты, упраздненные людьми дерзкого опыта, а теперь, когда они вновь открыты, и полным полны, уже нет средств и сил переваривать их содержимое. Базары доступны только спекулянтам, да людям в галифе.

Как в древнем Риме звучит в Москве:

— Хлеба... и зрелищ!

И зрелищ в ней сколько угодно.

Театры переполнены, переполнены кинематографы и концертные залы, каждый клуб имеет свою сцену, на балеты большого театра не достать билетов. Поют, играют, пляшут... но все таят про себя одну думу, вся Москва полна одною этой думой: о хлебе насущном.

— Хлеба, хлеба, — шепчут улицы и вздыхают переулки.

Но небо мертво над ее головой и земля не родит ничего. О крестьянине, заселяющем пустопорожние окрестности, она думает с ненавистью или подходят к нему с хитрыми ужимками тайной дипломатии, все еще на что-то надеясь: на совесть мужицкую, на ум или глупость его. Прежде она делала на него налеты и сни-

О Б Л И К М О С К В Ы

мала скальпы как с врага, теперь она дарит его улыбками истощенного лица и пытается соблазнить его сыграть ва-банк, на хлеб, потрепанными временем картами.

Но хлеба все меньше.

А дум о нем все больше.

Оседающие, потрескавшиеся дома полны тяжелых и жутких вздохов.

— Хлеба... хлеба...

Заглушенный вопль рвется из них:

— Умираем... хлеба...

Но сурово звучит в ответ:

— Хлеба нет.

Пайки уменьшаются.

Отменяются.

Подвоза нет.

Вся Россия охвачена голодом.

Миллионы людей передвигаются с места на место в поисках хлеба. Снимаются целые города, не смотря на запрещения, и бегут человеческими скопищами, двигаются к югу, двигаются к востоку, двигаются к западу, руководимые слухами, питаемые легендами, полные страха голодной смерти. Это агония целой страны. И Москва агонирует вместе со всей Россией. Ибо она сердце ее, — сердце увлекающееся и страстное, сердце жестокое и покорное, сердце полное светлой мечты и образов бреда, сердце отзывчивое и на все дурное и на все прекрасное. И из этого сердца, — сердца великой страны, вздымается вопль:

— Умираем... по-мо-ги-те-е...

До концов мира несется этот вопль.

Но в то же время, стиснув зубы, Москва добавляет с мертвенной бледностью лица:

— Но не надейтесь сломить меня даже голодом и смертью!

— — — — —
Она права.

Ее не сломить ни внешним, ни внутренним врагам.

Ее сломит только время.

Историческая неизбежность.

Да проклятое наследство прошлого.

Москва покорила Россию.

Теперь Россия покоряет Москву.

Диктует ей свою волю.

Покоряли рабочие.

Диктуют крестьяне.

Политика громоздко меняется.

На последнем съезде партии, обсуждая вопрос о новой экономической политике, «Ильич» сказал своим оппонентам:

— Довольно болтать. Идем на улицу и решим этот вопрос с оружием в руках.

Оппоненты смирились.

Воцарился «Нэп».

Социалистический «рай» отодвигается все дальше. Предлагаются лишь суррогаты его, но под ними, как под святочной маской, слишком ясно видно старое знакомое лицо, — лицо вчерашнего врага из господ-вала. Слишком поторопились гнать природу в дверь, когда настужь были распахнуты все окна. Слишком жестоко и самоуверенно гнали ее, а теперь кротко встречают у окон и даже помогают влезать, делая однако же вид, что не узнают старого знакомого.

... Это «новая буржуазия» валом валит...

И декреты вводят буржуазный строй, как фиговым листком прикрытый красными словами.

О ВЛИИ МОСКВЫ

Но история знает — что она делает.

Все, что было, было неизбежно, — и имеет свой исторический смысл для будущего и свое историческое об'яснение в прошлом.

Старая Москва умерла.

Из туманов истории вырастает новая Москва...

Москва детей.

...Еще неведомая...

ЖУЧОК

Жучок ворчал и глухо лаял во сне, в темноте, на кожаном диване, где за годы лежанья вдавилась уютная ямка. Снился Жучку последнее время все один и тот же сон: лежит хозяйка на столах в углу, неподвижная, страшная; пришли черные люди и унесли ее. Не уходила тоска с той поры из его маленького сердца. Знакомая тоска и теперь разбудила его. Поднял голову, прислушался. Залаял резко и зло.

— Жучок, тише, тише, пожалуйста, — всплыл из спальни сонный и усталый голос хозяина, — ты-же спать не даешь, Жучок.

Но Жучок залаял оглушительно на все пустые комнаты: резкий звонок в прихожей и следом нетерпеливые стуки в дверь. Жучок уже был в прихожей и яростно бросался на дверь, за которой таилось что-то неведомое, и, чувствовал он, враждебное. Хозяин вышел со свечей, в халате. В дверь ворвалось несколько человек в черных кожах. Жесткий сапог больно ударил Жучка, он отлетел далеко в сторону и взвыл, спрятался под диван и оттуда, повизгивая, все время ворчал и лаял. Его маленькое тело трепетало от неведомого ужаса: тут было что-то страшнее чем случай с хозяйкой. Переворачивали столы, вытряхивали ящики, взламывали половицы, бумаги отбирали и связывали. Потом два человека с винтовками встали по бокам хозяина.

И увели его во тьму.

ЖУЧОК

Жучок уже молча, боясь ударов страшных сапогов, прокрался вслед, едва успев юркнуть в захлопнутую дверь. Спустился по лестнице, невидимый во тьме. Хозяина посадили в ревущую вонючую машину. И началась бешеная скачка. Машина с грохотом мчалась, а Жучок во все свои маленькие ножки скакал за нею. Зверек комнатный, он не привык много бегать, жаркий язык его давно выставился изо рта, бока ходенем ходили. А машина мчалась, все ускоряя бег. Наткнулся на что-то Жучок, полетел вверх лапками. Вскочил, метнулся... побежал, нюхая вонючий дым. Но прогремел другой автомобиль по переулку, грузовик протарахтел. Жучок потерял след. Долго он совался в темноте из переулка в переулок. Остановился и долго, продолжительно завыл в жутком ночном молчаньи. Поплелся по улицам, поджав хвост и опустив голову. Ярko всплыл облик хозяина: сидит на диване, курит трубку. Прошло подобие мысли: хозяин дома. Помчался прытко. Уже светало, когда по лестнице взобрался к знакомой двери.

Глуха и безмолвна дверь.

Выл и лаял Жучок у двери, царапался. Но молчит дверь немая. Вышли соседи и прогнали его. Куда идти? Холодный ужас сердце сжимал. Что делать? Дрожа, голодный, весь день провел у крыльца на улице. Опять взбирался к двери, но уже с боем прогоняли его. Под дождем ненастным ночь провел. В лавочку заглянул, в переулке, там когда-то хозяин бывал часто. Нет больше лавочки, заколочена дверь. Голод терзал внутренности. Голод повел его от родного места. Нюхая воздух, шел по тротуарам. Бесконечно шел вдоль молчаливых домов, мимо пустых и пыльных окон магазинов и их заколоченных наглухо входов. Нигде

даже не пахло с'естным в этом огромном лабиринте улиц. На тротуарах ни корки, ни косточки. Местами беспокойные воробьи что-то пытаются клевать меж булыжником мостовой, но и они ничего не находят. Ослаб Жучок от голода и смертной тоски, еле плелся. Садился отдохнуть по углам, озирался мутными глазами. Забрел как-то в узкий двор огромного здания, привлеченный смутным запахом с'естного. Во двор выходили окна кухонь и оттуда прямо-таки перло вкуснейшими запахами, давно уже и не слыханнными Жучком: запах щей узнал Жучок и особенно раздражающий, дразнящий аромат жареной индейки. Облизываясь, становился он на задние лапки и просительно махал передними. Но никто не обращал на него никакого внимания. Взвыл он потихоньку. И вдруг увидал мусорную яму. Но там уже шевырялась истощенная, на тень похожая женщина. Она выбирала корки, косточки с недоеденным мясом и иную всякую заваль.

Она прогнала Жучка.

— У меня семеро... семеро, — бормотала она, — пошла прочь, собаченка... тут, брат, дом советов, не про тебя писано.

Бормотала и повторяла без конца.

— У меня семеро.

Не понял Жучок слов, но тон как-то в сердце отозвался: повилял хвостом сочувственно, сел неподалеку и ждал терпеливо. Лишь ушла женщина, кинулся поспешно разрывать мусор.

... О счастье... Кость индюшки... петушиная нога!

Богатство... роскошь...

Ворча, неистово грыз.

Но пришел лохматый человек с метлой и прогнал Жучка, зверски ругаясь. Сладко облизываясь, поплелся

Жучок снова по улицам. Была собачья жизнь его в плену у этих улиц-корридоров, в их каменном кольце. Днем и ночью путался он в их холодном лабиринте. Пил из луж. И все нюхал воздух: видно перестали люди есть в этих темных домах, откуда всегда так приятно и богато пахло когда-то. Кожаные люди попадались часто. Он, ворча, от них сторонился, переходил через улицу, завидев издали. Но их было так много, — не устережешься. Стучал зубами от голода и все бродил, бродил и искал — где бы перехватить хоть кусочек с'естного... На женщину раз набрел. Сидит женщина в нише окна заколоченного. Старенькая, сморщенная, в шляпке старомодней, бедно, но по господски одетая. Понюхал ее Жучок: не шевелится, спит будто. На коленях чашка деревянная, в чашке деньги мелкие. Повилял Жучок хвостом, сел рядом, будто караулит. Прошел мимо кожаный человек, приостановился, посмотрел и бросил в чашку крупную бумажку. Ощерил Жучок зубы, но ворчать не решился. Проснулась женщина и очень обрадовалась Жучку. Гладила его, говорила что-то ласковое, милое. Тепло стало на сердце у Жучка, руку лизнул ей, а потом изловчился и в кончик носа поцеловал. Танцевал и прыгал. Пересчитала женщина деньги, встала и позвала Жучка с собой. Плетется, покачивается. На углу у бабы купила кусок булки крошечный. Половину сама с'ела, половину Жучку отдала. Уж не хочет Жучок отставать от нее, по пятам бредет. Нет-нет вперед забежит, в морщинистое лицо заглянет, потанцует. Пошатнулась вдруг женщина крепко, остановилась, молчаливо осела и протянулась по земле. Страшно Жучку: не шевелится — лежит она, как тогда хозяйка на столах. Лизнул ее в холодное лицо. Идут люди равнодушно мимо. Двое перешагнули и не

оглянулись даже. Лежит женщина, а Жучок сидит на лапках возле, передними просительно машет, лает отрывисто.

— Вставай... вставай, — как-будто просит.

Не встает, не слышит.

Пришли люди в серых халатах, забрали, унесли.

Долго ковылял Жучок за ними, пока от под'езда длинного дома, куда внесли ее, его прочь не отогнали.

— ... «От голода», — услышал он таинственное слово.

Незнакомое слово, никогда не слышал прежде, но как-то в памяти его так и осталось оно в связи с этой женщиной.

— Голод...

Привычной, неуходившей, покорной тоской щемило сердце.

Стал он совсем паршивый, ввалились бока, шерсть сваялась до боли. Напрасно в углах за под'ездами пытался привести он себя в приличный вид, — ничего не выходило. Да и сил уж не хватало, развилась апатия. А голод все влек из улицы в улицу, понукал без конца блуждать. На углу чем-то слабо с'естным однажды повеяло. Дверь стеклянная, с вывеской. То и дело входят и выходят люди. Скользнул за тонкими ножками в ботиночках рваных. Сидят люди за круглыми столами, пьют, кушают что-то. Пошел в путанице столов робкими шагами. Но неожиданно вырос перед ним огромный худющий пес и с видом хозяина приказал ему немедленно удалиться, — об этом слишком красноречиво говорили оскаленные зубы и зловещее хриплое рычанье. Сила и право были очевидны. Покорно ушел Жучок. Но уже понял, что есть какие-то с'естные комнаты на углах улиц: тут не удалось, в другом месте

жучок

попытать можно. Пошел углы обнюхивать. Но углы как углы, совсем пустынные. Однако вот опять дверь стеклянная, опять входят и выходят люди. Выбрал маленькие ножки подбробнее, скользнул за ними. Ничего: никто не встретил его с хозяйским видом. Забился под столы, озирается, понять старается — в чем тут дело. Главное: с'естное есть... а вот как его достать? Осторожно вытянул голову из-под стола. Увидала его бледенькая, стриженная барышня.

— Ах, собачка... бедненькая. Голодна ты... да? Все слова понятные и голос ласковый.

Завилял Жучок хвостом изо всех сил. Сахару крошечный кусочек получил, даже затошнило. Но от другого стола заговорил кто-то басом.

— Эй... собака. Поди сюда. Иси... ком.

Обмер Жучок: кожаный человек.

Усатый, в очках, не разберешь глаза какие. Ощерился Жучок, заворчал, попятился. Но что-то пахучее и остро вкусное протягивал кожаный человек. Сердце у Жучка затосковало... мясо? Не может быть... ловушка? Ударить хочет. Ворчал Жучок не переставая а сам смотрел то на громадный сапог, то на очки, то на мясо в протянутой руке. Но кусок прилетел к нему. Недоверчиво, осторожно взял его Жучок, а как взял, так уж тотчас и проглотил не разжевывая. А человек что-то сказал барышне в белом передничке и та принесла целую тарелку вкусно пахнущих об'едков. Человек поставил это на пол, под стол у своих ног, и стал приглашать Жучка откусывать.

— Иси, ком... манже, собака. Жри, — говорил он нелепым басом, гудевшим по комнате.

Голод победил все другие чувства.

Это был пир Лукулла, после которого Жучок за-

бился в темный угол, где не мог достать его ничей глаз, и заснул блаженным сном. А во сне ему снилось, что кожаный человек снял очки и глаза у него такие добрые, что Жучок залаял во сне от счастья. С этих пор, встречая кожаных людей, он старался заглянуть им в глаза, что-бы узнать врага или друга. Благоденствовал Жучок в приятном месте этом. Никто его не гнал, а по ночам, уходя, запирали. И по ночам он спал чутко и сторожил. Барышни в белых передничках ласкали его. Он вообще доверял больше женщинам, а на мужские сапоги посматривал с опаской: никогда в жизни ни одна женщина не лягнула его, чего от мужской ноги ожидал он всегда. Каждый день приходил приятный кожаный человек, угощал Жучка, и через Жучка познакомился с бледненькой стриженной барышней, в тот-же час приходившей. Теперь уж он и сидел за одним с ней столом, и сидели они по-долгу. Стал мягче его нелепый бас когда он угощал Жучка.

— Манже... жри, собака.

А у бледненькой барышни глаза сияли от счастья.

Как-то с утра разнепогодилось.

Хмуро было небо и плакал по окнам дождь. С шумом распахнулась стеклянная дверь, вошла группа кожаных людей с строгими бритыми лицами, с портфелями. Жучок немедленно почуял врагов и бросился к ним с рычаньем. Но властный голос что-то приказал и Жучка выставили на улицу. А вскоре и все вышли. Дверь заперли, приложили к ней красную печать. День и ночь продежурил Жучок у двери. И еще день дождался — когда придут и откроют. Но никто не приходил, мертва была закрытая дверь. Опять глухие

улицы приняли Жучка в свой холодный сумрак. Бродил он под дождем, по слякоти тротуаров, дрожа таился в углах под'ездов, калачиком свернувшись что бы согреться. Раз и целый день просидел в под'езде, потому что улицы сплошь наполнились народом: шел народ густою массой, стройными рядами, без конца шел все куда-то в одну сторону, с глухо шумящими красными знаменами и громадными плакатами. Играла музыка, люди нестройно и устало пели. И какое-то подобие мысли шевелилось в голове Жучка... «видно вот и люди вышли искать хлеба и мяса и не могут найти»... В своих скитаньях попал раз Жучок на площадь, полную движенья. Громыхали грузовики, тянулись подводы, люди брели с мешками, узлами, сундуками за спиной. Увертываясь от ударов, спешил Жучок скрыться в какой-нибудь переулок, но попал в ворота и очутился во дворе. Вблизи оглушительно свистели паровики, тяжело передвигались вагоны. Близь двери, уводившей в подвал, увидал Жучок целую компанию собак. Было их около дюжины самых разнообразных пород: от исхудалого как мощи Сан-Бернара до крошечной Таксы с кривыми лапами. Черный Гордон, Сетер, рыжий Дворняга. Все они сидели рядком, почти прижавшись друг к другу, полукругом у крыльца в подвал. Сидели неподвижно, будто чего-то выжидая.

Странное общество заинтересовало Жучка.

Подошел посмотреть — каким они таким делом занимаются, повел носом: пахнет вкусно из окон подвала. Вышел из подвала человек в белом колпаке и из ведра вылил в лохань что-то пахучее. Бросился Жучок со всех ног к лохани. Но вся дюжина собачьих морд на него страшно ощерилась, а Дворняга даже куснул его слегка. Отбежал Жучок. И странную увидел

картину. К лохани подошел Дворняга, сидевший с краю группы, и стал быстро и жадно уплетать, а вся остальная компания сидела неподвижно и спокойно. Наелся Дворняга вплотную, даже вздохнул, и отошел на свое место. Тогда пошел к лохани Гордон, следующий по очереди, доел остатки, даже лохань вылизал, и отошел на свое место. Вскоре снова вышел человек в колпаке и что-то бросил в лохань. Заковыляла к лохани Такса а все остальные сидели и ждали. Смотрел Жучок во все глаза, слюньки пускал. За время скитаний темный ум его научился соображать. Подумал он еще, — подошел и сел рядом с Сан-Бернаром, последним в ряду. Покопался на него Сан Бернар, но ничего не сказал. Ничего не сказали и остальные. Вот наступила очередь Сан-Бернара и уж очистил он лохань основательно. И видно было, что мало ему этого, но он покорно отошел на свое место.

И вот очередь Жучка.

Что-то сладкое и невкусное досталось ему, но наелся он вволю. И никто ему не мешал, спокойно сидела собачья компания. Только Такса подошла к Жучку, обнюхала его и хвостом приветливо помахала. Обнюхал его дружески и Сан Бернар. Так принят был Жучок в эту странную собачью коммуу, в которой каждый знал свое место и свою очередь и строго соблюдал установленную дисциплину. Тут-же происходил флирт и завязывались романы, но проходили они мирно и почти совсем не было драк. Даже Жучок подружился с Таксой и с молчаливого согласия всей компании Такса переменяла место и уселась рядом с Жучком.

Но вскоре-же случилась катастрофа.

Однажды утром дверь подвала не открылась. Стали темны и глухи окна подвала и мало по малу рассея-

ж у ч о к

лись запахи. Голод пришел. Не выдержал первый Дворяняга и ушел за поисками лучшей жизни. Пришли люди какие-то с мешком, поймали, связали и унесли Сан-Бернара, пристукнув его колотушкой по лбу. Разбежались собаки. Рядышком направились Жучок и Такса в холодный мир улиц. Но тут-же за воротами автомобиль переехал Таксу.

Снова один остался Жучок.

Снова один, голодный, беспризорный, брел он по улицам.

Внезапно два человека остановились и посмотрели ему вслед. Один юркий, маленький, с усиками и в картузе, до зелени в лице истощенный, а другой — мальчик, совсем крошечный.

— Семен, — сказал потихоньку старший, — а ведь это жаркое.

Жучок немедленно понял смысл слова, а по тону и значение его. Сердечко его похолодело. Он искаса повел глазами на них и побежал по пустынной улице. Но уже за ним слышался шорох спешащих ног. Помчался изо всей силы Жучок, ища куда-бы спрятаться. Но сплошною была линия домов, холодных и мрачных. Вдруг — угол. Он за угол. Но это пустырь с обломками дома. Забился Жучок подальше, в самый угол дальний. Но люди уже увидели его.

Подходили все ближе... ближе...

— Семен, справа заходи, — хрипел маленький человечек, крадучись, — стереги, не пушай с той стороны... на неделю хватит.

Крался маленький человечек, растопырив худые руки, и глаза его блестели жадным блеском голода. Смертельная тоска сковала Жучка: чувствовал свою страшную судьбу, смотревшую на него из жадных глаз. Чем

ЖУЧОК

ближе подходил человек, — ниже припадал Жучок головою и всем телом к земле, — сил не было бежать. Сердце останавливалось, умирало, покорность неизбежному поселилась в нем... глаза его гасли. Уже протягивал человек страшные свои худые руки с крючковатыми, жадно дрожащими пальцами... ближе... ближе... вот готов был схватить Жучка, покорного в последнем трепете жизни.

Внезапно простучали вблизи по тротуару каблучки.

Грудной голос произнес четкие и гневные слова. Жучок повел глазами и как в предсмертном тумане увидел стройную девушку с гневом горящими глазами. Жучок узнал ее. Он узнал ее сразу, эту бледненькую барышню из кофейни. И тот милый кожаный человек шагнул рядом с нею. Богиней неведомой показалась она ему. Слабо завилял он хвостом, закрыл глаза. Уж не имел сил бежать к ней. Покорно отдался рукам ее. Весь припал, прижался к ней, к груди ее, в сладкой, счастливой тоске. Слабым движеньем языка, с закрытыми глазами, лизнул ее куда-то, в лицо или руку, и замер. Человек скрипнул зубами, проворчал что-то на счет буржуев «недорезанных», и медленно пошел по переулку на нетвердых от голода ногах.

Теплая рука ласково ощупала Жучка.

Только и было: ребра да кожа.

— Бедненький...

Прижала его, грязного, к груди.

1919 г.

СОВЕТСКИЙ ДЬЯКОН

В Москве, в Александровском сквере, сидел в усталой задумчивости на скамье священник. Старичок худенький, истощенный, скромный, в старой ряске и в скуфейке, он более походил на монаха. Подслеповатыми, полупотухшими глазами посматривал он на редких прохожих, погруженный в свои какие-то сонные думы, и вздрогнул от неожиданности, когда перед ним остановился красноармеец, — огромный, неуклюжий, волосатый. Растопырив руки, красноармеец двинулся на священника подобно медведю и гудел как огромный шмель:

— Батюшка... отец Вениамин, ваше высокоблагословение. Кои годы, кои веки...

Протягивал к священнику свои пудовые ладони.

— Благословите во имя Господне.

Батюшка неуверенно поднялся. Он смотрел в лицо красноармейца с некоторым страхом, думал — уже не подвох-ли какой. Однако благословил его и красноармеец смачно поцеловал у него руку.

— Да вы кто будете? — потихоньку спросил батюшка.

— Не узнали? — гудел красноармеец, — да дьякон-же я... Генерозов я.

Батюшка вздохнул с облегчением.

— Господи и Владыко живота моего, — заговорил он попрежнему потихоньку, — да как-же вы в сей одежде оказались богомерзкой? Уж вот воистину

никак не ожидал. Диакон и вдруг в одеянии брани.

— Что поделаешь, батюшка, служу.

— По воле своей... или от лукавого?

Дьякон шумно вздохнул.

— Взяли!

— Ай-ай-ай, какое дело сатанинское... и духовных не щадят. Присядем, отец дьякон, побеседуем.

Они присели на скамейку.

Батюшка все продолжал всматриваться в лицо красноармейца, словно видел странное сонное видение и все еще никак не мог придти в себя.

— Уж не знаю, — заговорил он, — как и вопрошать. Давно-и в сем новом сани, отец дьякон, пребываете?

— Да уж полгода.

— И в боях участие принимали?

— Сокрушал супостатов, что поделаешь... яко древле Самсон. Но более голосом пугал. Как заведу из окопов: — «белогварде-е-е ейскому-у сонмищу ана-а-а-а-афема-а-а», — так вся тварь живая вострепещет, а оттуда пулеметы затрещат. Раз, батюшка, отец Вениамин, целая рота вспять повернулась от испуга, как во тьме ночной возгласил: — «изыди-и-те, оглаше-е-е-ени-и-и, изыди-и-те»...

— Господи и Владыко живота моего, — вздохнул сокрушенно батюшка, — какое духовных талантов извращение.

— За это меня командиром сделали.

— Чинов, значит, повышение?

— За пристрастие к самогону опять низвергли.

— Зашибаешь по прежнему?

— В меру души токмо... а мера-то у меня в бочку.

— О, велие развращение рода человеческого, — совсем сокрушился батюшка, — как же это ты, отец дьякон, против своих-то идешь?

Дьякон таинственно наклонился к плечу батюшки.

— Хотел раз к белым перебежать.

— Ну, и что-же?

— Пымали, чуть к стенке не приставили. На суде только многолетием и спасся.

— Как же это так?

— Как рявкну: — «всечестному трибуна-а-а-а-алу мно-о-о-огая ле-е-е-е-та-а»...

— Ай-ай... и что-же?

— Посмеялись и оправдали.

— Господи и Владыка живота моего.

— Их ведь развеселишь, они и помягчают. После того меня в город отправили, по специальности. Ты, говорят, воин ненадежный а спец хороший, — так вот и служи по специальности. — Теперь я клубом заведуо красноармейским.

— Что-же, хор духовный устрояешь?

— Помилуйте, отец Вениамин, это-ж контр-революция. Расстреляют, только заикнись. Нет, я по светскому песнопению. И что-же вы думаете, батюшка, ваше высокоблагословение, — хуже чем в окопах. Любимцем публики стал. — «Пой... пой, Петр Иваныч, — это я-то, — указал дьякон на себя, — пой, и никаких гвоздей». Ну, и реву, аж на улице люди останавливаются. Говорят: лошади пугаются как рявкну. Да еще ничего кабы петь «Во лузях» или «Не белы-то снеги в поле забелелися», — наше российское. А то подавай им хранцюзцкую трень-блень.

— А это что-же такое за трень-блень?

— Да одно недоумение, батюшка, а не песня. «Там

за лесом, там за лесом разбойнички стоят, там за лесом, там за лесом убить меня хотят... нет, нет, не пойду, лучше дома я помру». И откуда выкопали? Старина-а... допотопная. У какой-то, говорят, княгини нотную библиотеку сперли. Вот и пой. Революционная песня, говорят, — с разбойниками борьба. Я говорю им: да ведь это-ж контр-революция: «нет, нет, не пойду». Все равно, говорят, — пой, нравится. А то, батюшка, ваше высокоблагословение, плясать заставят.

— И пляшешь?

— Батюшка, отец Вениамин... пляшу!

Батюшка сокрушенно вздохнул.

— Господи и Владыка живота моего, какое духовного сана унижение...

Он нагнулся слегка и заглянул дьякону в лицо.

— Неужели и в присест?

Дьякон покрутил головой с прискорбием.

— Колесом хожу. Верстой двигаюсь. Дугой становлюсь. Бурей раскидываюсь. Присяду — только ноги сверкают, зал дрожит. Раз даже декорации сверху оборвались, чуть меня не придавили... вот бы, отец Вениамин, в хорошем виде в преисподнюю угодил, прямо-бы на сковородку. Но уж и любят-же они меня...

— Возлюбили, значит?

— Да-а. Подавай Петра Иваныча, больше никого не хотят. Их ведь развеселить, — золотые ребята. Ведь те-же наши прихожане прежние... подойти только надо к ним уметь. А я, батюшка, человек справедливый, неправды душа не выносит. Они это чувствуют. У меня в клубе чай так чай, бутенброд так бутенброд, что-б душа радовалась. Кому деваться некуда, бывает, приходи, сделай милость, и ночевать устрою. С семьей,

бывает, целою помещения найти не могут, — ко мне... помещу по тайности, что бы никто не знал. Не по закону, да по правде. Раз из крестьянской инспекции приехал хахаль какой-то, так комиссаришка не из важных, а смотрит князем Потемкиным. «Кто клубом заведует?» — «Я». — «Коммунист?» — «Никак нет». — «Ка-а-к... не коммунист, а клубом заведешь. Почему не коммунист?» — «Потому, говорю, что у меня никакого взгляда нет». — «Какого такого взгляда?» — «Убеждения», говорю... «а совесть есть. Потому — никого обманывать не хочу, а к делу приставили, делаю за совесть». Расшумелся князь Потемкин, инда на голове волосья как у петуха перья встали: — «доло-о-й, что б сейчас же твоим духом здесь не пахло, а нето арестовать прикажу». Тут наши-то и поднялись. — «Без Петра Иваныча не хотим, — клуб закрывай, без него ходить не будем». Сейчас-же депутатов выбрали да к Калинину. Ну, Калинин-то и говорит: — «коли его так народ возлюбил, хороший значит человек, пущай остается»... Ну... я... с той поры...

Дьякон внезапно остановился, вытаращил свои круглые глаза и словно стал набирать в грудь воздух. У скамейки появился чекист в сопровождении двух красноармейцев с винтовками. Чекист был еще совсем молодой человек, с испитым лицом, в кожаной куртке с красной звездой, с револьвером в кобуре на боку.

— Ваши документы, товарищи, — обратился он с резкой сухостью к сидевшим на скамейке.

Дьякон вскочил и вытянулся в струнку сбоку.

— Ваш документ! — обратился чекист к батюшке.

— Документ... о, Господи и Владыко...

Трясущимися руками батюшка рылся в карманах.

— Должно-быть дома позапамятовал... память-то стариковская.

— Скорей, товарищ, не задерживайте.

— Да нету... Господи и Владыко. Вот и дырка в кармане... уж не потерял-ли.

— Нет документа?

Чекист резко приказал красноармейцам.

— Взять его!

Красноармейцы равнодушно стали по бокам арестованного.

Но тут дьякон сделал шаг вперед и встал рядом с священником.

— За что вы попа берете? — обратился он к чекисту.

— Не твое дело, товарищ.

— Как не мое. Мое. Это-ж мой отец.

— Родной отец?

— Все равно. Всеобщий отец.

Красноармейцам это показалось необыкновенно забавным, они вышли из своего равнодушия и принялись смеяться.

— Всеобщий... ишь чего выдумал. Ну и выдумщик ныне народ пошел.

Но чекист уже подозрительно вглядывался в лицо дьякона.

— Уж одно то странно, товарищ, — заговорил он строго, — что ты, красноармеец, с попом лясы точишь.

— Чорт лясы точит, а я по душе беседую.

— Позабыл, что религия опиум для народа... или в царство небесное захотел попасть?

— У нас живо попадешь, — смеялись красноармейцы, — мигнуть не успеешь, предоставим на лоно Авраамово.

— Да за что-же попа брать-то? — не унимался дьякон, — что он сделал такого, противозаконного? Дезертиров ищите, так разве он похож на дезертира? Ему в субботу сто лет будет.

Чекист уже строго приказал красноармейцам.

— Ведите!

— Иди, иди, старик, — стали поталкивать священника красноармейцы, — шевели костями, в хорошее место отведем.

Но тут дьякон сорвался с места.

Он бросился как бык, разбросал в стороны красноармейцев и загородил собою батюшку.

— Не дам попа! — заорал он.

— Что... не дашь?

— Не дам! — орал дьякон.

Уже возвысил голос до крика и чекист.

— Арестовать его!

— Бери! Бери меня заложником, — вопиял дьякон, — расстреливай на месте. Попа не дам! Меня бери вместо него. Рабочая власть. Крестьянская власть. Справедливая власть. Разве так возможно!

Красноармейцы попытались ухватить его, но он только повел плечами и они разлетелись в разные стороны.

— Не дам попа!

— Да ты кто такой? — налетел на него чекист. — Какого полка? Предъяви документы. Сию-же минуточку. Эй, товарищи, держи винтовки наготове... наверное дезертир.

— Я не дезертир.

— Кто ты, отвечай сейчас-же.

— Я заведующий клубом.

— Каким клубом?

Дьякон вынул какую-то бумажку и протянул чекисту.

— Вот документ.

Чекист внимательно прочел документ, присмотрелся к дьякону и вдруг смягчил голос.

— Да уж это не вы-ли Петр Иванович?

— Я! — гудел дьякон.

— Из дьяконов?

— Я-а.

— Голосистый?...

— Голосистый. Никто кроме меня. Слушай... товарищ: разве это не в счет, что я народ за совесть увеселяю? Сделай скоску: отпусти попа. Я и вас сейчас увеселю.

Красноармейцы так и насторожились и с улыбками придвинулись.

— А ну-ка, как... как?

Дьякон набрал воздуха в грудь.

— «Де-ержа-а-ве эРэСэФэСэР—ской и това-а-а-а-рищам ее мно-о-о-о-о-о-о-о...»

Красноармейцы изгибались в неопишемом восторге, но чекист дружеским жестом положил ему руку на плечо.

— Ладно, ладно, потом споете, — здесь Калинин ходит неподалеку, неудобно. Мы непременно придем вас послушать, непременно.

— Приде-е-м, — ухмылялись во всю рожу и красноармейцы, — уж больно хвалят, слышали мы про вас.

Чекист совсем смягчился.

— Ладно, уж бери попа. Товарищи, отпусти попа.

— Получай, бери, — смеялись те, — не жалко.

— Вот за это спасибо.

Чекист сделал ему под козырек и удалился с своими красноармейцами.

Дьякон шумно вздохнул.

— Ох... как гора Синай с плеч.

— Господи и Владыко, — весь трясся батюшка, — рук и ног не соберу. И за что только такое народу утеснение.

— Попили-погуляли на своем веку... по грехам терпим.

— Я, дьякон, на Воздвиженку иду.

— Благословите и мне с вами, отец Вениамин?

— Пойдем, пойдем, дьякон, проводи... без тебя пропаду.

Они пошли вдвоем по дорожке, дьякон слегка придерживал священника под руку и гудел как огромный шмель.

— Уж очень встрече-то с вами рад, расставаться не хочется: яко из Ноева ковчега голубицу увидал среди потопа нечестия.

1920 г.

САМОГОНЩИЦА.

Александровский сквер. На дорожках пустынно. Из-за дерева осторожно, таясь, выглядывает баба, — в платке, толсто одетая.

Баба. — (Крестится.) Помяни, Господи, царя Давыда и всю кротость его. Бают, тут-о-ка он проходит, Михайло Иваныч-то, по евтой дорожке. Ох, сердечушко бьется. Помяни, помяни... царя Давыда... Только бы вышло дело, свечку Владычице поставлю, уж пять тысяч отвалю, не пожалею. Царя Давыда и всю кротость его... помяни, Господи. Абы не помешал кто. (Высматривает из-под руки.) Никак идет? Нет, не он. Какой-то шалапутый прется. Вот не во время нечистый несет. Помешает окаянный. Ишь глазами-то зыркнул на меня. Лучше спрятаться. (Крестится.) Помяни... помяни... царя Давыда.

Хочет спрятаться. Но Советский видит ее. Он в защитном цвете, с портфелем, шагает с деловую спешкой, при виде Бабы останавливается.

Советский. — Эй, товарищ тетка. Чего тут шлендаешь?

Баба. — Тебя не касаемо.

Советский. — Касаемо, коли спрашивают.

Баба. — Отцепись ты, нечистая сила.

Советский. — Что? Отвечай: что тут делаешь?

САМОГО НЩИЦА

Баба. — Прохлаждаюсь.

Советский. — Тут не место прохлаждаться, тут Калинин гуляет. Проходи дальше, а то документы спросят.

Баба. — Меня не касаемо. (Про себя.) Пронеси его, Господи, с ветром, с бурейю.

Советский. — Слышишь или нет?

Баба. — Слышу.

Советский. — Уходи от греха.

Баба. — А вот не уйду.

Советский. — Красноармейца крикну.

Баба. — Кличь, курносый. Чего пристал? Не уйду, сказала.

Советский. — Вот дура баба. Арестовать прикажу. Уходи, вон Калинин идет. (Спешит навстречу.) Здравствуйте, Михаил Иванович. А я вас по делу ищу.

Скрывается.

Баба. — (Высматривает из-за дерева.) Тут я его и устигну. Бают, он милостивый, — улещу его. Сердечушко бьется. Только бы шалапутый не помешал. Третий день сторожу. (Крестится.) Помяни, Господи, царя Давыда и всю кротость его.

Прячется. Медленно выходит Калинин, беседа
с Советским.

Калинин. — Так, товарищи, нельзя на мужика налегать. Мужик нас кормит, с ним надо смычку иметь. . . а с него штаны снимают.

Советский. — (Разводит руками.) Власть на местах.

Калинин. — (Останавливаясь.) Да кто не снимает, все едино. Власть на местах. . . А кто лозунги дает? Ведь вы-же, товарищи из центра. «Тащи с мужика штаны, он нас кормить должен». Разве это полити-

САМОГО НЩИЦА

ка? Я и Владимир Ильичу говорю наемни: — ну, с мужика штаны стащите, да скушаете, а потом что? Мужик-от он и без штанов проживет, на солнышке отлежится, — а вы что делать будете?

Советский. — Ну а Владимир Ильич что-же на это?

К а л и н и н. — Смеется. Мы, говорит, его, мужика-то, электрофицируем, у него и опять штаны будут.

Медленно идет, разговаривая. Навстречу стремительно выбегает Баба.

Б а б а. — Ваше превосходительство. Яви божецкую милость.

Бросается на колени.

К а л и н и н — (Остановливаясь, касается ее плеча.) Встань, тетка. Что ты, глупая, разве можно кланяться так.

Б а б а. — (Поднимаясь.) Защити сироту. Ваше превосходительство.

К а л и н и н. — Нынче нет превосходительств. И я не превосходительство. Нынче все равны, все товарищи.

Советский. — Это белогвардейка какая-то.

Б а б а. — (Ему.) Помолчи, курносый. (Умильно Калинину.) Михайла Иваныч, отец родной. Без тебя жизни моей скончание и ума решение. В Москва-реку броситься, одно и осталось.

К а л и н и н. Да в чем дело, тетка?

Б а б а. — Никакого и дела нет, один прижим. За-мучили они меня, окаянные.

К а л и н и н. — Кто?

Б а б а. — Да коммуны-же эти самые... что бы ни дна им ни покрышки, ни на том свете ни на этом, провалиться им в землю по самый пуп.

К а л и н и н. — Постой, постой, не ладно ты гово-

САМОГОНЩИЦА

ришь. Я-же сам коммунист. Где же ты живешь, что не знаешь этого?

Б а б а . — В Марьиной роще я живу, батюшко Михайла Иваныч. А только ты, ежели коммунист, то на особицу: ты голова^тнаша, а они, анафемы, перья из хвоста. Пристали да пристали: уезжай, говорят, Дарья, из Москвы, — в двадцать четыре счета уезжай, а нето, говорят, мы тебя к стенке приставим на два месяца. А куда-же я, сирота, уеду, куда мне, вдове беззащитной, деваться, коли я в Москве родилась, в Москве век свеквала? Да я и дорог-то из Москвы не найду. А они, анафемы, тормозат: — уезжай, Дарья, нето разрестуем, уезжай чичас, нето стражу кликнем. Да все слова, все слова разные пушают на меня: — ты, говорят, елемен, ты, говорят, буржувазный предрассудок. А какой-же я, батюшка Михайла Иваныч, предрассудок, обидно мне это слышать. Совсем затыркали меня, вдову беззащитную.

К а л и н и н . — Постой, погоди. Скажи толком...

Б а б а . — Да я им толком и говорю: креста, говорю, на вас нет, оголтелые.

К а л и н и н . — За что высылают-то?

Б а б а . — По суду приговорили за самогон этот самый.

К а л и н и н . — (Сурово.) Так ты самогонщица?

С о в е т с к и й . — Арестовать ее прикажите, Михаил Иваныч.

Б а б а . — (Ему.) Помолчи, курносый. (Умильно.) Батюшка, отец родной, Михайла Иваныч. Точно. Самогонщица я. Защити, Ваше превосходительство.

К а л и н и н . — (Сурово.) Да не превосходительство я, товарищем надо меня звать. Как-же тебе не стыдно тетка, самогоном людей отравлять?

САМОГОНЩИЦА

Баба. — Ваше... господин товарищ. Ништо я... Ведь по доброй воле-то. Кому не любо — не пей. Ведь силком не заставляю. Ништо я не понимаю этого, чать Господь умом тоже не обидел. Муж-ат, рассуди-ка, в красной армии на войне убит, и даже помер. А после него четверо осталось, мал мала меньше. Вот такой... да такой... да вот...

Калинин. — (Смягается.) Четверо?

Баба. — Четверо, отец родной, четверо: две девочки да три мальчика.

Калинин. — Пстой. Ведь так пятеро выходит. Что ты путаешь все.

Советский. — Басни она разводит, не слушайте ее.

Баба. — (Ему.) Помолчи, курносый. (Умильно.) Пятый-то прибудочек, Михайла Иваныч, после мужа по вдовьему делу разутробилась... от коммуниста. А они, оголтелые, этого и во внимание не берут. В Пролетарской Агитации служит, коммунист-то, на всю Марьяну рощу агитахтор... уж так говорит, так говорит... и я не устояла. Мы тоже деликатностью чувств ешту коммуны понимать можем. И ежели, скажем, дите... то чем жить, чем ребят малых кормить вдове беззащитной?

Калинин. — Но почему-же самогон? Разве мало другой, честной работы?

Баба. — (Сокрушенно.) Попутал лукавый.

Калинин. — (Уже улыбаясь.) Веселый лукавый-то.

Баба. — (Не поняв.) Веселый, отец родной, веселый. Я и им, анафемам, говорю: ведь вы от советской-то жизни передохнете, увеселяю я вас. Ну, да после суда-то я уж пирожками, Михайла Иваныч, занялась. Уж такие пирожки пеку, такие пирожки...

САМОГОНЩИЦА

и с лучком, отец, и с морковкой, и с капустою... даже они, окаянные, сами-ж пальчики облизывают. А все свое тарахтят: уезжай, Дарья, в двадцать четыре счета, а нето к расстрелу на два месяца.

К а л и н и н . — (Смеется.) Ну что мне с такой делать?

Б а б а . — (Кланяясь.) Яви божечку милость. Ваше превосходительство. Заставь за себя вечно Бога молить.

К а л и н и н . — Ну, ладно, тетка. Здесь говорить не место, приходи завтра в канцелярию. Вот там, на углу Воздвиженки. Спросишь, всяк покажет. Что могу, сделаю.

Идет.

Б а б а . — (Вслед ему) Спаси тебя царица небесная, защити Микола угодник.

С о в е т с к и й . — (Обертывается, чуть не скрипя зубами.) Ну, ладно, добилась своего... уходи.

Б а б а . — Помолчи, курносый, тебя не касаемо. — (Умильно вслед.) Охрани тебя, батюшко, Параскева-Пятница... Кузьмы-Демьяны... святители наши...

Калинин и Советский скрываются.

Б а б а . — Ох, слава тебе... выгорело. Помяни, Господи... царя Давыда. Завтра-же с зарей встану и прямо в очередь к нему. И свечку Владычице завтра-же поставлю, тыщи не пожалею. (Спохватывается.) Батюшки родимые, сколь время-то провела, свечеряет скоро. Домой, домой бежать надо... самогон перестоит.

1920 г.

ПОКОЙНИК.

Зима, снежок падает, деревья в серебряном уборе.

Идет старушка по аллее сквера, одета в рвань, тянет за собой салазки с длинным мешком неопределенных очертаний: не поймешь сразу — что в нем такое. Навстречу ей красноармеец, рослый молодец с веселым лицом.

— Родимый, — спрашивает у него старушка, — где тут на Воздвиженку выйти?

— Прямо, из подворотни направо, — шутит красноармеец, — а какой товар везешь? Может запрещенный, посмотреть бы надо.

— Какой там товар, родимый, очкнись. Мужа на кладбище хоронить везу.

— Мужа?

— Да, родной.

— Дело хорошее, дай Бог всякому. О пайке не хлопотать.

— Хуже пайка пришлось, родимый. Четыре дня вот хожу по Москве-то с покойником. В очередях ночи стояла — только бы значит разрешение получить на упокой души.

— Разве и на упокой разрешение надо?

— А как-же? В одночасье, без разрешения помер-то. Вечером схватило под-ложечку, давит да давит на печенку, а к утру и преставился. Всю жисть я с ним маялась, царство ему небесное, — пьяница и озорник был, да уж лучше бы еще пожил. Разве можно в такое

П О К О Й Н И К

время помирать! Ведь он ноне упокой-то души дорого стоит. Янкеты писать заставляли... да ведь я неграмотна. Одними печатями замаяли. К тому столу за печатью, да к ентому за печатью. А потом в другое управление, да в третье, да еще, — по всей Москве с покойничком бродила, ни пимши тебе, ни емши... четы-ре денька. Ему-то што, царство ему небесное, полеживат себе, никакой заботы, — а мне, вдове, каково. Ишь в упряжке хожу, на тот свет дороги ищу. Ох, горюшко горькое.

— А ты не ропщи, — посмеивается красноармеец, — зато помрешь сама, он тебя там встретит с благодарностью.

— С кулаками, родимый... кулашник был. Ох, пойду. Еще далече-ли мне тянуть-то?

Красноармеец смеется неведомо чему.

— Столько да полстолько, к утру дотянешь.

Уходит прочь по дорожке.

Но едва старушка трогается с места как на нее вихрем налетает дьякон, тощой да длинный:

— Стой, старушка божия. Почем мука-то?

— Очкнись, родимый, покойника везу.

Дьякон разочарованно оттопыривает губы, но внимательно смотрит на мешок, и что-то соображает.

— Родственник что-ли, что так трудишься?

— Муж.

— Царство небесное. Отчего помер-то?

— А отчего жить-то? Всем помирать надо, моготы больше нет.

— Отпевать будешь?

— Как же, родимый, по хрестьянскому обряду хотелось-бы, да уж не знаю как и быть.

— Отпоем, — говорит дьякон решительно, — пой-

п о к о и н и к

дем вместе. У меня есть тут поп на примете: хороший человек и берет дешево. А чем платить будешь?

— Да бедная я вдова, ничего у меня нет.

— Дело хуже.

Дьякон смотрит совсем разочарованно.

— В царство-то небесное тоже даром не пускают. Ведь и нам кормиться надо. Ну, прощай.

Уходит по дорожке.

Старуха смотрит ему вслед и говорит потихоньку.

— Картошки у меня есть... немножко.

Дьякон замедляет шаг, но продолжает уходить.

— Еще мучки дала-бы, — говорит старуха.

Дьякон враз останавливается, как боевой конь при звуке трубы.

— Чего? Муки? Много?

— Да фунтиков десять-бы дала.

— Пойдем!

Дьякон с решительным видом возвращается к салазкам.

— Пойдем, раба божия. Так отпоем, что все святые встречать сбегутся. Человек-то наверное хороший был?

— Пьяница да охальник, прости ему Господи.

— Дело хуже. Сахарцу не прибавишь-ли?

— С фунтик дам.

— Отмолим!

Дьякон становится рядом со старухой и готовится помогать ей тянуть салазки. Но в это время набегаёт человек, — худой, серый от истощения, с лихорадочно горящими глазами. Человек еще издали вопит истошным голосом как сумасшедший.

— Стой, стой! Старуха, сто-о-ой!

Догоняет салазки.

— На што меняешь?

п о к о й н и к

— На твою душу, — смеется дьякон.
Но человек возбужденно машет рукой.

— Чорт с ней, с душой, — на муку и душу сменяю.
По рукам, старуха! Говори: на что променяешь? Двенадцать поленьев дров есть. Диван бархатный, все ножки целы, только вывезти тайком надо. Ночью вывезем. Грамофон новенький, перед революцией куплен. И пластинки есть. Еще дров прибавлю, шесть поленьев. Чего еще хочешь, говори скорей.

Щупает мешок и удивленно смотрит на старуху.

— Да это не мука! Што такое? Конина што-ли? Вопит возбужденно.

— Бер-у!

Дьякон посмеивается, а старуха укоризненно качает головой.

— Очумели вы все с голоду што-ли, родимые, — глаза-то вам застило. Аль не видишь што это?

— А што?

— Покойник.

Человек отскакивает от салазок.

— Фу ты чорт... всамделе. И чего вас тут таскает с падалью-то, только в сумление вводите. Вижу... мешок... ну... мука... инда в голову ударило. Ведь у меня шестеро.

Хватается за голову.

— Эх... жи-сть.

Уходит хлябающей походкой.

Дьякон и старуха берутся за салазки, но откуда-то с боковой дорожки неожиданно появляются чекист и красноармейцы.

— Стой. Что за товар? — окружают они салазки.

— Не товар, отец. Покойника на упокой везу.

— А разрешение есть?

п о к о и н и к

— Есть, родимый.

Старуха копается в кармане и подает бумажку.

Чекист читает вполголоса:

«Иван Подхалюзин. Беспартийный. Нетрудовой элемент. Умер от печенки. Зарыть разрешается».

Отдает бумажку.

— Ладно, вези в царство небесное.

Уходит с своими красноармейцами.

Дьякон и старуха тянут салазки. Но у самой решотки сквера, у выхода, их вновь спешно нагоняет давешний человек и вопит все так-же возбужденно.

— Стой, сто-ой! Эй, старуха! Отдай хоть мешок. Я из нево ребятам пальтишки сделаю. Чать не буржуй твой покойник-то, что бы ево в мешке в могилу класть.

Старуха смотрит на него укоризненно.

— Что ты, родимый. Аль уж совсем меня за дуру считаешь? Самой спригодится. Я яво из мешка-то вытряхну.

1919 г.

СОВЕТСКАЯ БАРЫШНЯ.

Раннее утро.

В глухой аллее сквера сидит на скамейке бледная девушка, опрятно, но очень бедно одетая, в платочке и в стоптанных ботинках. Ее истощенное лицо носит следы угнетающей заботы, движения ленивы как у глубоко утомленной. Показывается на дорожке барышня с портфелем, хорошенькая, немного курносая, что придает ее личику задор. Кудри выбиваются из-под шляпки. Ножки в новых туфельках ступают бойко. Вглядывается, проходя, в бледную девушку и вскрикивает оживленно и весело.

— Ксенюшка. Да ты-ли это? Вот рада-то. Ведь сколько лет не видались.

Девушка взглядывает мутно суровыми черными глазами и говорит равнодушно ей в ответ.

— Здравствуй, Люба.

— Что ты тут делаешь?

Барышня присаживается рядом и смотрит лукаво.

— Свиданье, наверное?

— Не говори глупостей. Стояла в очереди за хлебом, с самой ночи, — устала, вот и присела.

— Получила хлеб?

— Нет.

Девушка в горькой улыбке скривила губы.

— Я ведь существо третьей категории.

Холодно оглядывает барышню.

— Боже... да ты с портфелем... и сияющая. Уж не служишь ли где?

— Да, радостно оживляется барышня, — представь себе мое небесное счастье: я поступила в Жилотдел.

— Что это такое?

— Жилотдел? Ты не знаешь что такое Жилотдел? — она делает круглые глаза, — да где-же ты живешь, на луне разве? Жилотдел это Жилищный Отдел. Учреждение серьезное. Я заведую столом по распределению помещений для нетрудового элемента. Не шути со мной, я теперь вторая категория. А погоди — скоро и первой буду, на положении ответственной работницы.

— Начальство наше? — криво усмехается девушка.

— Да еще какое!

Как-бы не замечая холодности подруги, барышня переходит на доверчиво дружеский тон.

— Изголодалась я, Ксенюшка. Натерпелась нужды всякой. А тут вдруг такое небесное счастье. И паек. И жалованье. И комната во втором Доме Советов, в Метрополе. Учреждение серьезное. Я ведь теперь от родителей отдельно живу, самостоятельно.

— Как, ушла от них?

Барышня задорно откидывает головку.

— Устарели для меня. Разные взгляды на жизнь. Для меня их предрасудки неприемлемы.

Искоса оглядывает подругу и говорит оживленно и душевно.

— Хочешь, я тебе протекцию окажу?

— Это какую?

— наших там много, в Жилотделе. И Долинская там. И Петрова. И Соловейчик. Все наши одноклассницы. Есть еще вакантное место. А я имею влияние,

ко мне начальство прислушивается. Хочешь похлопочу?

Девушка взглядывает ей в лицо сурово и говорит холодно.

— Избави Бог.

— Вот как?

Барышня слегка надувает губки.

— Не хочешь к большевикам? В старых пред-
рассудках погрязаешь? Как угодно. А по моему не
все-ли равно кому служить, лишь бы кормили. А какие
там чудные ботинки выдают. Я недавно получила, —
шик, лакированные. Таких и на Сухаревке не найдешь.
Тоже материю на платье. А духи-и... Боже мой, ум-
решь... настоящие «Коти». Небесное счастье! Среди
коммунистов есть тоже очень, очень милые. Прямо ка-
валеры, не хуже прежних. Товарищ Блюм, например...
Слушай, Ксенюшка, приходи ко мне, я вас познакомлю.
Ах, какой он смешной, ты не можешь представить. И
милый такой. Цветы подносит. Шоколад чуть не
каждый день. Смущается, краснеет... ну, совсем еще
мальчик. И каждый раз непременно коробку уронит.
Недавно меня и Петрову за город возил. На тройке,
как в прежние времена. И шампанское пили. Пред-
ставь, — настоящее, высшей марки. Небесное счастье.
Ах, как было весело. Я не помню как и домой вер-
нулась. А Петрова со мной из-за Блюма совсем рас-
сорилась. Вот чудачка.словно мало кавалеров. При-
ходи, непременно, я тебя познакомлю с Блюмом. Ты
ведь не отобьешь его у меня? А впрочем, — отбивай.

Она задорно дернула личиком.

— Я за свободную любовь.

Девушка невольно рассмеялась.

— Я не собираюсь никого отбивать, — ответила она, — да и что-то твоя любовь похожа... на другое.

— На что?

— На разврат, Люба.

— Боже, какой ветхозаветный предрассудок, — даже вскинула барышня ручками, — нет, я тебе вот что скажу, Ксения: довольно с нас этих страшных слов. Довольно нас пугали ими. Нельзя было шагу ступить: то нельзя, другое нельзя, а вот можно только то, что родители позволят. Скажите пожалуйста, какой высший критерий. Товарищ Блюм говорит: «высшее счастье жизни — любовь, а на нее наложены цепи.» Ах, какой он смешной. Представь, он говорит не «цепи» а «чепи». А какие он милые слова говорить умеет. Он мне часто говорит: — «товарищ Люба, ты мое небесное счастье».

— О, вы уже с ним на «ты»?

— Что-ж такого, — вскинула барышня головку, — он мой гражданский муж.

— Вот как? Ты замужем? Поздравляю. И давно?

— Уже вторую неделю.

Девушка с усмешкой вглядывается в нее.

— И надолго?

— Разве я знаю! Я не признаю буржуазной семьи. Это тюрьма для личности. Личность должна быть свободна. С человеком надо жить до тех пор, пока он нравится.

— А если он будет нравиться всю жизнь?

— Тем лучше.

— А он тебе очень нравится?

— Как тебе сказать...

Барышня слегка оттопыривает губки.

— Уж очень смешной он. И милый. Да вот при-

ходи, увидишь сама, — сходим к нему, я вас познакомлю.

— А разве вы не вместе живете?

— Фи... вместе жить!

Барышня сжала плечики с видом отвращения.

— Это-ж пошло, как ты не понимаешь.

— Ну, а если дети будут, Люба?

— Дети? Что-ж такого? О детях должно заботиться государство.

— Значит ты своего ребенка отдашь на воспитание в какое-нибудь советское учреждение?

— Я?

Барышня взглядывает на подругу с негодованием.

— За кого ты меня принимаешь! Ни за что на свете!

— Но ведь ты сама-же говоришь...

— Мало-ли что говорится. Я своего мальчика буду так любить, так любить...

— А если это девочка будет?

— Девочка? Ну, что-ж. Какая разница? Конечно тоже. А вот с товарищем Блюмом непременно, непременно тебя познакомить надо. Уж такой он смешной, такой милый, увидишь сама. Увалень, неповоротливый. А повернется — что-нибудь уронит. Я с ними делаю что хочу. — «Товарищ Блюм, выпишите мне ботинки». — «Да ведь у тебя, Любочка, есть одни?» — «А я другие хочу». И выпишет. Иногда на смех делаю, что-бы посмеяться. И не надо, а выпишет. Представь себе, недавно Петрову арестовали.

— За что?

— Да у нее брат белым офицером оказался, так по совокупности. Ну, я к Блюму. И говорю ему так официально. — «Товарищ Блюм, я вас видеть больше

не желаю, пока Петрову не освободят.» Он влиятельный, захочет — может все сделать. Так ты бы видела его: покраснел сначала, побледнел потом, сказать хотел что-то да не выговорил, схватился за фуражку и ушел молча. Три дня пропадал по учреждениям. Вызвали Петрову: освободил. Ах, какой милый. Ты его полюбишь, непременно приходи. Намеднишь я Колюбакину встретила. Ты помнишь Колюбакину, училась с нами?

— Помню.

— Представь, на улице падала от голода. Последнее платьишко на Сухаревке продала. Положение отчаянное, а к большевикам поступить, как и ты, никак не хочет, непримиримая. Да я ее понимаю: у нее отца расстреляли. Понять человека можно. Но ведь надо же помочь? Не оставить же с голоду помирать? Поша я к Блюму. — «Товарищ Блюм, надо голодному человеку помощь оказать». — «Кому это?» — «Да не все-ли равно кто с голода умирает: если бы даже белогвардеец, так и подыхать ему?» Выслушал, взял фуражку. Пошли мы с ним вместе хлопотать. Достал он паек кремлевский: и устроили мы у Колюбакиной пир. Он ей все свое месячное жалованье отдал, вот так вынул, и отдал... она брать не хотела, даже заплакала... да разве ему в чем откажешь? Ну разве он не милый, а?

Девушка ласково положила ей руку на колено.

— Ты добрая, Любочка. За это тебе многое простится.

— Ну вот еще. Вовсе я не добрая. Я сама по себе. Какая есть. И прощать мне нечего. А предрассудков не выношу.

Она вдруг нежно припала плечом к плечу девушки.

С О В Е Т С К А Я Б А Р Ы Ш Н Я

— Слушай, Ксения. Вот смотрю я на тебя. И платьишко износилось. И ботинки сваливаются. Понимаю я все это. Ну, доставь мне удовольствие: возьми у меня платье.

Девушка резко отодвинулась.

— Ты с ума сошла.

Но барышня смотрела совсем просительно.

— Ну, право-же... совсем новенькое... а фигурой мы одинаковы. Ну, не могу я смотреть на тебя. И ботинки возьми. У меня лишние.

Девушка удивленно и внимательно смотрела ей в лицо своими суровыми глазами.

— Ну, право-же ты... не в уме, — повторила она тихо.

— Возьми. Ну, у большевиков не хочешь, у меня возьми.

— Не надо-ж, говорю.

— Ну, пожалуйста... возьми!

1919 г.

ПУТАНИЦА.

Когда поезд подали, бывший мещанин а ныне товарищ Дрыкин попал в такую тесноту, что и шапку потерял да и чуть ребра ему не переломали. Люди облепили вагоны как мухи, на крыши позалезли, прицепились на тормозах. Дрыкину посчастливилось: в вагон на площадку попал. Тут-же его в угол и прижали. Да так прижали, что из-за чьей-то спины только его рыжие волосы торчали, а нога где-то промеж соседских ног застряла, и уж была так основательно зажата, что он и пошевелить ею не мог. Вагон гудел и жарко дышал, всюду торчали головы, руки, ноги, — в полутьме, словно дикий сон, копошилось человеческое месиво.

Поезд двинулся потихоньку.

Дрыкин все пытался вытянуть свою ногу, но никак не мог, а нога его мешала большому усатому красноармейцу, и красноармеец наконец обратился вообще в пространство.

— Эй, чья тут нога заплуталась?

— Моя, — пропищал Дрыкин.

— Убери ее, товарищ... нашел куда поместить.

— Как убереешь-то... сам бы рад, ишь застряла, не подается никак.

— А ты потяни покрепче.

— Тя-ну-у... оторвать ништо!

— Эй, това-ри-щи, — вопил красноармеец сквозь гул всеобщего говора, — расступись, дай человеку ногу ослобонить.

Ворчали кругом.

— Расступись сам.

— Хитер ноне народ пошел, — расступись-ка, по-пробуй, я те рупь дам.

— Да ведь надо-же ногу ослобонить!

— Много бы ноне ослобонить надо, уж помалкивай.

— Каку ногу? — кричали сквозь шумок и вздохи.

— Эй, кто ногу потерял?

Кто-то резонерствовал.

— Знаем мы эту ногу... а потом в ЧК угодишь.

Пошло по вагону.

— Нога... ногу...

— Каку ногу?

— Человеку ногу оторвало.

— Ах, родимый...

— Эй, кондуктор!...

— Тут и голову оторвут. Господи-батюшка.

Мрачный мужчина, выше всех на голову, с лошадиной физиономией, крепко прижатый к самым дверям уборной, заговорил хриплым басом.

— У нас тоже был примечательный случай с ногой. Уж такой случай, диву даешься, как рассудишь. С одним профессором случилось у нас.

— Где это — у вас?

— В Комиссариате Здравоохранения.

— ... Сохранишь тут, в этакой тесноте...

— Помолчи там, дай человеку досказать. Ну и что же?

— Так вот нога, вы говорите. А нога-то эта на проверку иной раз выходит — не нога, а контр-революция. Был профессор один в Москве. И случилось у него что-то с ногой. На войне что-ли ранение по-

лучил, или что другое, а только антипировали ему ногу по самую коленку.

— А вы куда едете?

— За мукой от коллектива. А вам што, собственно?

— Так, антересно. Рассказывайте.

— Ну, антипировали ему ногу, честь-честью, по всем правилам науки: тят-тят, в два счета отрубили и в помойку бросили. Ну, профессор-то не дурак, собрался он да в те-поры же в Ерманию и выехал. А там, братцы мои, сделали ему пре-васхо-днейшую ногу.

— Из чего?

— Уж того не знаю. Из ореха, а може из красного дерева. Ну, к коленке честь-честью приставили и — гуляй профессор. Вот приехал он в Москву, тут то и пошло затруднение. По паспорту выходит — человек русский, а нога немецкая.

— Какая нога? — словно кто-то проснулся.

— Да ты слушаешь аль нет?

— Слушать то я слушаю. А только нога... это действительно. Это сурьезная вещь. Ноне человек ногой живет. Даже думает ногой. По канцеляриям ходишь-ходишь, за пайками ходишь-ходишь, в очередях стоишь-стоишь, а теперь вот шестьсот верст може на ней, на ноге-то, простоять придется. Без ноги ноне человеку крышка.

— Да помолчи, дай человеку досказать.

— Пушай говорит, мы што-ж. Мы только к слову.

— Да врет он, чего и слушать-то, — крикнул кто-то с усиками, востроглазый. — У нас это тоже солдатам приставляли. Протест называется.

— Так то русский протест, альбо советский, а то немецкий. Надеюсь, разница, товарищ, коли изволите

понимать? Ну, вот с профессором-то и оказия: человек как-будто по всему русский: и обличье, и борода, все на месте, а нога — немецкая. Стал он к нам на службу в Здравоохранение поступать, и дали ему анкету заполнить. Есть в анкете графа: имеется-ли подвижность? Вздумалось профессору пошутить: имеется, пишет, только нога, да и та немецкая. А тут какой-то чиновничек вертелся из Чрезвычайки. Заглянул он в анкету-то да и прицепись. Как... немецкая? Нога немецкая? А как вы к советской власти относитесь? — Сочувствую, говорит. — А почему-же нога немецкая? И пошло, и пошло, до Чрезвычайной Комиссии доходило дело.

— Сидел?

— Три недели просидел.

— Дешево: расстрелять могли.

— Да ведь за что же?

— Да так, по ошибке, или по совокупности.

Кто-то угрюмый говорил из угла, невидимый.

— За такие дела следоват. Им потачку дай, буржуям-то, они и головы немецкие всем поприставят.

А с усиками, остроглазый, все приставал.

— Ну, какая-же в ноге контр-революция, хошь она и немецкая? Земледельческие машины из Ерманнии выписывают-же? Все-то вы, товарищ, врете.

— Я вру? Я не вру, а советский служащий, вы поосторожнее.

— Погоди, вот до станции доедем, поглядим какой ты есть советский служащий, — народ мутишь.

— И пожалуйста. И очень просто, если вы хоть сколько можете соображать, что и в ноге может быть контр-революция. Может в ей ящик какой, альбо щель, а там прокламации соглашательские. Народ хит-

ПУТ А Н И Ц А

рый пошел, держи ухо востро. Ведь он, профессор-то, через Польшу ехал, а в Польше-то Савинков сидел, да разные генералы белые.

— А зачем твой профессор в Ерманию ездил?

— Говорят вехи менять.

— На што?

— А Бог ево ведает.

— Спекулянт, значит!

— Уж того не знаю. А только следствие на ногу-то наводили, и под следствием ее рассматривали: нет-ли в ней контр-революции какой.

— Ты кто такой будешь, товарищ?

— А вам, собственно, какое касание? Что вы все тоже словно следствие наводите: кто да куда!

— Да так спрашиваю, антиресно: уж очень много ноне всякого народа пошло.

— Я не всякий народ, я советский служащий, повторяю к вашему сведению, и прошу моей персоны больше не касаться.

— Персо-о-на! А в Чрезвычайку хошь, персона?

— Это по какому такому случаю?

— Да так, без случая. Народ не мути. Вот на станцию приедем, там поговорим — какая такая немецкая нога.

— Я факт рассказываю.

— Вот-вот, там тебе покажут хвакт, там раз'яснят как советскую власть порочить. Не верьте ему, товарищи, врет он все на счет ноги. Евто есеровская прокламация. Разве у нас на советских заводах хуже ноги делают?

— Бре-х-ня-а...

Сора разгоралась в душной мгле вагона.

П У Т А Н И Ц А

А Дрыкин потерял уже последнее терпение и внезапно завопил на весь вагон.

— Голу-у-бчики. Отпустите ногу на покаяние. Окаменела, не чувствую. Потеряю ногу-то... а у меня семеро.

— Да што вы, зверье што-ли, — свирепо крикнул усатый красноармеец, — расступись, черти, хоть немного.

— Куды расступишься?

Уж ворчали сочувственно.

— Мы тут сельди а не люди.

— Евто правильно, — смеялся кто-то, — советская селедка.

— Я вот был толстый, а смотри — блин, как в пресс попал, — хрипел толстоликий багровый человек.

Красноармеец стал выбиваться вверх.

— Подставь плечи, — кричал он, — я пространство освобожу. Надо-же человеку помощь оказать.

Он выбился на плечи соседей.

— Ослобонил? — спрашивал он вниз.

Голова Дрыкина медленно выползла вверх и голубые глазки благодарно мигали.

— Ослобонил, спасибо тебе.

— Цела?

— Шупаю — тут будто, а не чувствую нисколечки.

— Отойде-ет.

Красноармеец озирался.

— Вот теперь задача, — ворчал он, — как спуститься? Видно приведется через окно на крышу вылезать.

Поезд медленно движется.

Ночь, тьма, человеческое месиво.

1919 г.

Г О С Т И .

ЦИКОТУХА

В 1918 году, когда пришли в Харьков немцы и заиграли во всех скверах «пупсика», — я выехал в Киев, чтобы пробраться в Великороссию.

В полтавском поезде не протолкнуться: все забито сверху до низу. Висят ноги сверху, глядят головы чуть не с полу. На лицах тупое терпение. Люди так-же терпеливы как их мешки, чемоданы и корзины. Шумок, говорок, всюду беседы. Трое дядек пожилых, седобородых, беседуют о земле с каким-то человеком в очках. Человек допытывается: как посевы. Но дядьки говорят об этом как-то неохотно и все время в их словах чувствуется что-то недосказанное.

— Та засияли, — говорит один.

— Всю засеяли?

— Та усю.

И смотрит на других дядек.

— Усю, — подтверждают они.

Но другой тотчас-же говорит:

— Было-бы чим сиять-то.

А третий насмешливо добавляет.

— Бисова батька засиеш. Ни конив, ни волив...

— Так значит засеяли не всю?

— Та усю...

Человек смотрит удивленно.

— А земли вам большевики прибавили? — допытывается он.

ц и к о т у х а

Дядьки смотрят друг на друга какими-то пустыми глазами и говорят в разбивку, неохотно и вяло.

— Куды ее...

— Робить нечем что и есть.

— Земля труд любит.

— Ни конив, ни волив...

Но видно, что у них что-то другое в голове, чего они не хотят высказывать. И, отвращаясь от человека в очках, продолжают прерванный разговор.

— Воны, скаженни большевики, начали от станции по селу строчить, — рассказывал толстолицый дядька, — семью в погреб посадил, а сам жду — что будет. Строче да строче. Как ударит мне прямо в клуню: ды-ы-м. Клуня и сейчас боком стоит. Скотина бедна арканы оборвала, по двору мечется. А я жду: вот разорвется, весь двор разнесет. А она так дымом и изошла.

— У них дурны снаряды: у моей хаты тоже крышу пробило, а не разорвалось.

— Как перестали трохи строчить, посадил я жинку с робятами да тряпками на подводку, отправил на мельницу к куму за сило. Так воны, скаженны, дорогой все у них позабирали. И коня и тряпки. А мне еще одна влетела, ну та другой катэгории: у дерева посреди двора в землю в'елась, так дерево-то и окопала со всех сторон. И как я цел остался... а страху-то не было, вспомнить смешно. А как пришли... эти...

Дядьки замолчали и ,поглядывая искоса, к чему-то стали прислушиваться. Вблизи у окна стояла бабчикотуха. Платок на голове ее был красный, лицо красное, глаза осоловелые, толстые губы ее непрерывно шевелились. И она говорила, говорила, говорила,

Ц И К О Т У Х А

быстро, без перерыва, точно весь рот у нее был полон слов и она старалась от них освободиться.

— Вин каже... каже... вин каже... гарний... який вин гарний, — стрекотали слова.

Она даже ими захлебывалась.

Собеседница ее, апатичная толстуха, едва успева-ла изредка вставить слово в эту быструю как поток речь и баба тотчас цеплялась за слова и распускалась целым кружевным веером ответных слов.

— Сорок тысяч их прошло, через село. Им зареза-ли десять кабанов, двести пудов испекли хлеба. И за все, за все платили. А потом еще три тысячи прошло. А потом еще, а потом...

— Деньгами платили?

— Ой... мужики думали: погани яки-нибудь гро-ши, а их в Харькови ще лучше берут. А який гарний порядок завели. Большевики, што-б их матери на том свити сто раз икнулось, те грабували на двадцать пять верст туда и сюда. А Герман пришел: делай каждый свое дило, говорит, живи смирно, никого трогать не будем. Мы гости, говорит Герман-то, мы к вам на по-мощь пришли. Ой, и гарни-ж люди.

Она в восторге крутила головой.

— А как по-о-ют... Господи Боже. То-о-ненькими голосками, як те дивчата. Жаль: не балакают по наше-му. А котри балакают, — дивляються. У них жинки того не роблят, што у нас. У вас, говорят, — жинка — вол. Вот как они говорят. Ой... и гарни-ж люди. Ты дивись: большевики, нехай вони перевернутся, оста-вили на станции вагон аммуниции, не успели увезти. Мужики-то походили, походили возле вагона: давай-ка, говорят, разберем, что добру пропадать. Да все и перетаскали. Чего там только не было: и сукно серое,

и чоботы, и курточки, и шапки. Такая драка у вагона была, святых выноси, каждый себе тянет что получше. Куму моему Хведору здорово шею попортили: целую неделю голову на бок ходил. А тут Герман пришел: — вернуть, говорит, усю аммуницию вернуть, а кто не вернет — сожгу. И уж им тащили, тащили. А Герман-то потом с обыском пошел. Так дивись: богатые котри не все сдали, у них есть где припрятать-то. Так Герман все нашол. И все отобрал. А в наказание взял еще у богатых-то, котри прятали, хлиба, та бидным и роздал.

Баба захлебываясь вздохнула.

— Вот он какой, Герман.

Слова ее скачущим потоком вливались в шумок общего разговора.

— Он... такой. Тут по дороге мост взорван, так я носильщику пять рублей платила через овраг вещи перенести, — ты дивись-ка — пять рублей, безбожно. Где бедному человеку взять? Еще и смеются: што у тебя в мешках-то, каже, спэкуляция? Не спэкуляция, кажу, — коммэрация. А тут мальчишки из села появились по двадцать копиек берут. И хотели их носильщики-то прогнать, а Герман и говорит: но-о-о... нельзя. Ти толстый, ти сытый, а он есть хочет, у него дома сестренки маненьки...

Она заканчивает восхищенно:

— Вот он какой, Герман.

Рядом со мной пожилая женщина с лицом индейца и волосами как вороново крыло бормочет недоброжелательно.

— Ось стрекоче... пятьдесят болячек тоби на голову.

Кто-то, вздыхая, отзывается из мглы.

— Такие и накликали.

— Кому родина, а кому коммэрдия, — подтверждает женщина зым тоном.

Человек в очках уже беседует в соседнем отделении с двумя интеллигентными девушками.

— У нас в поселке, — рассказывает он оживленным тоном, — ходили с крестным ходом в этот день, было благодарственное служение. В колокола звонили, народ как на праздник высыпал, вокруг всего поселка обошли, с пением.

— О чем-же молились? — спрашивает тихая девушка с миловидным лицом.

— Благодарили за избавление от ига большевицкого.

— Это когда немцы-то пришли?

— Да, да, в тот самый день.

Тихая девушка что-то сказала.

— Что вы говорите? — нагнулся он к ней.

Она повторила.

— Бесстыдство.

И на лице ее отразилось страдание.

Другая девушка, украинка с густыми черными бровями и горящим взглядом, резко сказала.

— Это все русские виноваты.

— Что вы немцев-то пригласили?

— Хоть чертей! — крикнула она со злобой, — и тех бы позвали...

— Не покайтесь.

— Не в чем каяться. Всякое иго лучше москальского. А от других освободимся.

Молодая девушка слушала задумчиво.

— А я плакала... в тот день, — тихо сказала она.

И добавила, чуть-чуть зардевшись.

— Я все-таки... не немка.

ИНОК

Верстах в трех от полустанка крошечный монастырь притаился на лесном пригорке. Пройти к нему надо было зелеными полянами через провалившиеся мосты над сонными речками. Пустынны и безлюдны были поляны, только местами по дорогам мерно шагали темно-серые фигуры марсиан-завоевателей, да с грохотом двигались и скакали серые и крепкие, тяжело нагруженные фуры. Белые стены монастыря приветливо манили, перед воротами с двух сторон белели корпуса гостинниц для богомольцев и дачников, теперь имевшие пустынный, выморочный вид.

Тишина и безлюдье.

Лишь на миг из-за угла корпуса вырвалась громоздкая, слишком знакомая фура и с деловым грохотом унеслась по дороге в зеленую равнину, поднимая за собой тучи пыли. Вхожу на крыльцо гостинницы. Ни души, ни звука. Только откуда-то, в открытое окно, доносятся звуки разговора.

Прислушиваюсь.

— ... цуфриден ... цугабен ...

Звонят к вечерни.

Звуки колокола уныло и печально падают в немую тишину, словно призывая к покорности и терпению. В узком коридоре на дверях в номера немецкие надписи мелом. Стою, рассматриваю их. Бесшумно, подобный немому и тусклому призраку, появляется откуда-то гос-

тинник. Оглянувшись, уже вижу его рядом: стоит и вместе со мной рассматривает надписи, словно первый раз увидел их. Он высокий, худой, сутулый, старый, с длинной узкой темной бородой, подернутой изморозью лет, с глазами как бы невидящими, внутрь смотрящими, как у человека глубоко задумавшегося. На голове остроконечная черная скуфья.

— Гости? — говорю я, кивнув на надписи.

Он переводит на меня невидящий взгляд свой, долго смотрит и молчит, потом говорит как-то бесшумно, словно только шевелит губами.

— Семьдесят четвертый... мне-то...

Шепчет таинственно.

— Год-то пошел мне. На небесах мое отечество... инок я, мне все равно. И монастырю тоже: стояла обитель и стоять будет. А вот два брата у меня в миру, хрестьяне. Тем трудно будет. И народу трудно будет.

— Почему?

Он тускло усмехнулся.

— Уж какие там гости.

Безнадежно провел рукою в воздухе.

— Брехня.

Повернулся и ушел, колыхаясь, в какую-то темную комнату. Тут была келья, обращенная в кухню, — сумрачная, крошечная. Он стоял посредине неподвижно, словно что-то позабыл и старался вспомнить. Я попросил дать мне комнату и чаю.

— Ничего нет, — ответил он бесшумно, — самовар могу скипятить, а чаю нет... сахару нет... хлеба нет.

— Как же это вы так?

— Уж так...

Внезапно он оживился и заговорил прежним таинственным шепотком.

— А ка-а-к они е-дя-ат.

— Кто?

— Гости-то. И откуда што. Картошка, морковь, овощ всякая. Мясо каждый день. Такие супы варят, что дух на улице слышен. Выйдешь это в корридор, наберешь воздуху полную грудь... и как будто одним тем духом сыт. А вот этих... консервы что-ли называются... несметное количество, целый двор пустыми банками забросали. Отвалятся от еды, красные... трубки закурят и разговор у них веселый.

— Разговариваете с ними?

— Я?

Посмотрел невидящим взором.

— Нет. Уйду вот... запрусь...

Он вдруг как-бы проникся сочувствием ко мне.

— Спросите в лавочке рядом: нет-ли чаю, я самоварчик распаяю. А на веранде странник сидит, у него в мешке хлеба много, спросите.

В лавочке продали мне на заварку какого-то странного желтого чаю, со странником-же разговор вышел короткий. Худой хмурый старик в серой свитке сидел на полу веранды, обнвшись со своим мешком, и из под густых нависших бровей смотрел подозрительно.

— Хлиба нэма, — сказал он.

— А в мешке?

— Соби трохи.

— Хоть немного продайте, дядька.

— А почем в Харькове хлиб? — смотрит он искоса.

— Полтора продают... и два.

— Два?

Задумывается, как-бы соображает что-то, словно боясь продешевить.

— Ни, нэма хлиба, — отвечает категорически.

... Сажу в крошечной келье, в ожидании чая, смотрю через окно во двор. Там стоят серые фуры, под-ряд, как в строю или на параде. И всюду лежат аккуратно связанные пачки соломы. У фур прохаживается лейтенант и весело разговаривает с солдатом, просто, по товарищески. «Корректны, вежливы», — вспоминаю общий отзыв. Почему бы и не позволить себе эту роскошь в украинском фатерлянде? Гостинник снова появляется так бесшумно, что я узнаю о нем только по приближающемуся клокотанию самовара. Бесшумно садится на кровать. И, пока я завариваю чай, достает что-то из кармана, потихоньку, будто краденое: кладет осторожно на стол кусочек сахара и немножко хлеба, черного, засохшего.

— Извините... из старого запаса.

Смотрит, молчит.

Потихоньку говорит таинственным шопотком.

— Сколько, извините, голов у гидры?

— У какой гидры?

— У того змия, что древнее царство поедал. При Георгие-храбром. Недавно я такую книжку читал... как он то царство опустошал, и дань собирал, и девицу что бы ему предоставляли каждый раз новую.

Нагнулся ко мне.

— Драхвоном звали... змия-то.

Задумался, помолчал, и снова заговорил бесшумным говорком.

— У нас в монастыре тоже была эта революция. Такая булга, такой содом, все переругались. Что бы и казначея нового, и игумена нового, и все чиновачалие. Игумена в растрате обвинили, учет ему делали. Срамоты было без конца. Половина монахов разбежалось. Старец у нас был, Кондратий, лет сто ему, сух как мо-

щи, тот вышел за врата обители с посохом и прах с сапог с превеликим гневом отряхнул. — «Да будет, говорит, сему месту пусто.» И впрямь стало пусто. Ескорости приехали люди некие, с шумом и с оружием, стали всюду опись производить. Все комнаты обошли, везде излазили, все запасы перенесли, — а у нас их было в изобилии: обитель-то была как полная чаша. Печати наложили, уехали. А в те-поры вскорости пошла у нас тут ночью пальба. И справа палят, и слева палят. Собрались мы в церкви, всю ночь молились. А на утро... стою я на крылечке, смотрю из-под руки в долину, — что за диво: словно водслазы идут. И стройно так идут. А за ними фуры серые ползут. Подходят ближе, вижу: старшой ихний впереди с книжечкой шагает. Что-то в книжечке вычитывает и на обитель им показывает. И вот словно домой они приехали: ни у кого не спрашивая прямо за угол корпуса во двор сворачивают. Расположились во дворе, пораскрыли амбары, стали сено и солому проверять, а старшой все себе в книжечку записывает. Потом сено и солому стали в пачки связывать, половину себе здесь оставили, половину сложили на фуры и увезли. А у нас пять коров. Стали мы им об'яснять, а они так вежливо отвечают: — карашо, вы себе купайте». А где тут купить? Ведь и у крестьян тоже все забирают. И коров наших старшой тоже в книжечку занес. Хлеб описали, все описали. И у крестьян тоже все описывают. По хатам ходят, на дорогах отбирают. Вез мужик двух кабанов продавать, одного взяли, записку выдали, другого в книжечку занесли, и продать нельзя значит. Бывают случаи, что с крыш солому снимают. Тут кругом по деревням мужики задумываться стали: — «це,

кажут, воны славно карманы выворачивают, мабуть не хуже большевиков».

Он поник головой.

— Не хозяева мы больше в стране своей.

Наклонился ко мне.

— Говорите — гости? Уйдут, стало-быть? А зачем им уходить! Брехня! Разве здесь плохо? Всего вдоволь. А как не хватит, — народу много, заставят его работать. Вот уже распорядились, что бы мужики всю землю засеяли. Урожай будет, опять все себе возьмут. А там опять... А где, извините.... Георгий? Что-то не слышать.

— Какой Георгий?

Он безнадежно провел рукою в воздухе.

Помолчал.

Проговорил совсем тихо.

— Уж лучше-бы японцы пришли.

— Японцы, — удивился я, — почему японцы?

— Да они... всетаки...

Но он так и не объяснил почему, и что значит это загадочное «всетаки». Впал в глубокую задумчивость, поникнув головою на руки. Я тоже задумался, замороженный его печальным и таинственным шопотом.

Тишина стояла вокруг немая.

Только откуда-то издалека донеслось :

— Гельт!

М О В Ь .

В Киев я приехал уже при Гетмане.

Люблю я Украину, люблю украинский язык. Увлекался Заньковецкой, Саксаганьским, Карпенко-Карим, с душевным трепетом слушал напевы бандуристов о стародавней украинской славе и портрет Шевченко всегда висел у меня на стене. Но я сразу почувствовал себя жутко, когда очутился в положении человека, который украл Гоголя. Так объяснил нелегальность моего положения один мой киевский знакомый, когда я ему жаловался, что мой русский язык никто не желает понимать.

— Так вас и надо, проклятых кацапив: вы у нас Гоголя украли.

Знакомый всетаки знакомый, а все незнакомые, особливо власть имущие, даже не объясняли ничего, но молчаливо давали мне понять, что я украл Гоголя. В душевном смятении бродил я по Киеву и виновато вглядывался в лица щирых украинцев прежде чем с ними заговорить. В хлопотах о проезде в Великороссию надо было мне отыскать министерство юстиции. На поиски его ушел целый день. Спрашивал в нескольких учреждениях, никто не знает. В одном министерстве подхожу к молодому человеку в защитной куртке.

— Скажите пожалуйста, где мне найти министерство юстиции?

Не замечая меня смотрит в пространство. Повто-

ряю свой вопрос. Искося взглядывает, пожимает плечами и качает головой. Виновато бреду дальше по обширной зале, вижу как вежливо и предупредительно разговаривают чиновники с людьми, говорящими по украински, и с поспешностью мчатся исполнять их поручения. Подхожу к другому молодому человеку.

— Не можете-ли об'яснить мне — где находится министерство юстиции?

Через мою голову строго рассматривает лепные украшения на потолке. Не замечает меня. На повторный вопрос отвечает нехотя.

— Такого нема.

Наконец от какого-то важного брюнета получаю неопределенный намек, что «это» может быть на Думской площади. Бреду на Думскую площадь, хожу и глазею на вывески, спрашиваю порохожих. Нет министерства юстиции. Вдруг убеждаюсь, что его и в самом деле «нема»: на под'езде дома большая вывеска гласит: «Народне министерство справ судовых». Оказывается, однако, что справки судовы мне бесполезны, надо направляться в министерство путей сообщения. А где оно? В справах судовых пожимают плечами: здесь неизвестно. То-есть, может быть и известно, но ведь я Гоголя украл. Мне это ясно дают понять. Бреду по улицам, захожу в под'езды, справляюсь у извозчиков, у прохожих. Натыкаюсь на вывеску: «народне министерство пошт и телеграфив». Радостно захожу, обращаюсь к молодому человеку в защитной куртке.

— Будьте добры сказать — где мне найти министерство путей сообщения?

Хмуро поправляет.

— Министерство шляхив.

Пожимает плечами и качает головой.

Начинает рисовать женскую головку и что-то на-свистывает из «Запорожца за Дунаем». Спускаюсь с под'езда, вижу человека в костюме швейцара и, в отчаянии, решаюсь скрыть, что украл Гоголя: начинаю коверкать русский язык на украинско-патагонский лад.

— Будте ласковы, добродие, дэ будэ мыныстэрство шляхив?

— Министерство шляхив... и справ железничих? Зараз, зараз.

Разительная перемена.

Добродий взвился вверх по лестнице, как в небо, и мигом спустился оттуда с катастрофической быстротой погибающего аэроплана.

— За углом четвертый дом.

В министерстве шляхив и справ железничих со мною были предупредительны и вежливы, потому-что я через каждые два слова вставлял «добродие» и вместо где произносил «дэ». К моему удивлению здесь понимали даже слова, наспех придуманные мною в качестве украинских, но в сущности ничего не обозначающих. С их помощью добрался я довольно быстро до директора отдела, по национальности поляка, и сразу с облегчением почувствовал, что Гоголя никогда не крал, хотя и виноват каким-то образом в смерти Косцюшки. Оказалось, однако, что и министерство шляхив и справ железничих мне тоже бесполезно: директор любезно объяснил мне, что надо запастись документами на выезд от украинского штаба, немецкой комендатуры и министерства закордонных справ, а затем направиться в Великорусское министерство.

Начались долгие хождения по мытарствам, под тяжелый стук немецких штемпелей, контролировавших «украинскую державу».

М О В Ъ

Однако, когда наконец хлопоты кончились и я готовился к от'езду, я получил из Харькова известие: «немцы дефилируют с красными знаменами и поют интернационал». Очевидно, украинские «хлеба и кабани» оказались посильнее штемпелей немецких...

ОБЫВАТЕЛИ.

ВОЛЬНАЯ ДЕРЕВНЯ.

Офицер советской армии Никодимов, проезжая однажды по делам службы глухим проселком Минской губернии, припоздал. День был сумрачный, ненастный, и ночь наступила как-то незаметно, почти без вечера. Сразу слились с тьмой контуры деревьев, поля лежали таинственно-молчаливые, где-то там во мраке. Слышалось лишь постукивание копыт усталых лошадей, да легкое поскрипывание таратайки. Возница у Никодимова был неопытный, местности не знал и вскоре совсем сбился с дороги. На расспросы Никодимова: правильно ли он едет и скоро-ли будет село, — он сначала отмалчивался, а потом неожиданно заявил:

— Да Бог весть куда едем... дороги-то я не знаю!

В это время вблизи послышался лай собак и внезапно из тьмы вынырнули фигуры, — как показалось Никодимову — вооруженные.

— Стой! — раздался краткий приказ.

Он инстинктивно схватился за револьвер.

— Кто такие?... что надо? — крикнул он.

Из тьмы послышался флегматический ответ.

— Стража.

Прошел холодок по сердцу Никодимова: к кому он попал — к своим или чужим? Были поляки неподалеку, бродили и зеленые по лесам.

Блеснул на момент тусклый свет фонаря, рельефнее выявились фигуры. Один держал лошадей под уздцы,

другой близко стоял у самой таратайки и, всматриваясь в Никодимова, спрашивал:

— Большевики? ... чи ни?

Теперь Никодимов ясно рассмотрел знакомый силуэт винтовки за его плечами.

— По делам службы еду, — предпочел он не ответить прямо на вопрос.

— Оружие, пане, есть?

— Есть.

— Прошу дать.

— Зачем это?

— Приказ председателя: с оружием в село пускать не можно.

Никодимов подумал и решил подчиниться, отдал револьвер. Державший лошадь под уздцы повел ее.

Так под эскортом таинственной стражи в'ехал Никодимов в село, уже спящее во мраке. Вскоре таратайка остановилась у единственного освещенного дома, громоздкого и по виду богатого. Человек с винтовкой постучал в окно и с кем-то перебросился словами. Из темноты вынырнули еще фигуры с винтовками и молча стали распрягать лошадей. Никодимов терпеливо ждал — что будет дальше, недоумевая — в какое-такое царство он попал.

На крыльцо вышел с фонарем в руках высокий худой человек с длинейшими русыми усами, из под которых торчала дымившаяся трубка.

Он навел фонарь на Никодимова.

— Большевик? ... або инший кто?

— Большевик, — решительно ответил Никодимов.

— Оружие маешь, пане?

— Передал страже.

Усатый вынул трубку, пустил из под усов густую

струю дыма, сплюнул и сделал рукою гостеприимно-приглашающий жест.

— Прошу пана до комнаты.

Освещая путь фонарем, провел Никодимова через сенцы в комнаты.

В просторной горнице было тепло, чисто, уютно, на столе кипел только-что внесенный самовар, стояли тарелки с конфетами, сушками, пирогами. В переднем углу блестел образ Ченстоховской Богоматери, а по гладко-выструганным стенам красовались лубки старозаветного рисунка и между ними портрет Ленина в компании каких-то усатых генералов. Портрет Ленина слегка успокоил Никодимова и он уже не без удовольствия взглянул на уставленный закусками стол.

Хозяин, выпуская из под усов дым, любезно пригласил:

— Прошу пана... чем Бог послал.

Уселся за стол, принялся хозяйничать, не выпуская изо рта длинной своей трубки: налил чаю и подвинул гостю сахарницу, блюдо с медом. А Никодимов тем временем присматривался к нему и, наконец, спросил:

— Ведь это село Невельское?

— Невельское в другую сторону... — ответил хозяин и назвал совершенно другое село, незнакомое Никодимову.

— А за что же вы меня арестовали? — спросил Никодимов.

Хозяин на минуту вынул трубку.

— Ни, пане, ты гость, — ответил он как бы в удивлении. — А если у тебя оружие взяли... так ведь мало ли теперь народу всякого по округе бродит... время наше тревожное. Узнали, что едешь... и приказали страже встретить. Ты — гость, — повторил он.

ВОЛЬНАЯ ДЕРЕВНЯ

Никодимов поражался все более.

— Да кто же здесь мог знать, что я еду?

— Я, — веско ответил хозяин.

— Откуда?...

Он опять взял трубку в рот и обвололся облаками дыма.

— У нас, пане, по всем дорогам разведка есть и стража вокруг села день и ночь ходит. У нас все село в службе, даже женщины в патрулях с винтовками стоят.

— Да вы кто же такой?

— Я?

Он не без гордого достоинства коснулся пальцами груди.

— Председатель совета.

— Так значит вы большевики? — обрадовался Никодимов.

Председатель густо обвололся клубами дыма.

— Ни, пане, — ответил он как бы из гущи облаков, — мы сами по себе. Как хотим, так и живем. Нам еще с войны надоело: то одни, то другие, и всякому дай. Царю бывало: дай. Немцы приходят: дай. Поляки приходят: дай. Большевики... або инший кто: дай. Начто зеленые по лесам хоронятся, и тем дай. Ну, всех не накормишь... видим дело-то плохо: ни хлеба, ни коней, ни овец, ни курей, последнюю качку со двора тащут... такой на нас со всех концов земли рот разинулся, чего в него не набросай, в минуту сжует. Стали мы думу думать: не сдобровать нам. Все через нас друг на друга войной идут, живем промежду огней, всяк нас завоевать хочет.

Он затянулся и продолжал:

— Была мовь добра: «земля и воля». А какая-же земля, когда помещиков мы выгнали, а хлеб для дру-

ВОЛЬНАЯ ДЕРЕВНЯ

гих сеем? И какая-же это воля, когда каждый над нами командовать хочет, что бы по его указке жить. Нет, думаем, дело это не ладное... Устроили совет и по всему селу приказ отдали: вооружайся. Молодежь еще с германского фронта винтовок да пулеметов понатащила — девать некуда... зарыто все было, а теперь вырыли. А когда немцы от нас уходили, три пушки у нас осталось со всем снаряжением... Они и сейчас у нас близь села на пригорке под прикрытием стоят. Взяли мы все село под ружье: не пустим больше, панове, никого к себе. И большевикам говорим: на свете простора много, гуляй, где хочешь, да к нам не заходи. А если без оружия... в гости, милости просим, всегда рады.

Он чуть-чуть улыбнулся из под усов.

И сплюнул.

— Разумеешь, пане?

Внезапно спохватился, испуганно взглянул на дверь в соседнюю комнату, пошел на цыпочках к печке, отыскал там тряпку и старательно вытер то место на полу, куда сплюнул. Почесал в затылке, с лукавой усмешкой взглянул на гостя, медлительно раскурил новую трубку и, окружив себя облаками дыма, сказал, с гостеприимным жестом указав Никодимову на стоявшую в углу за цветным пологом кровать:

— Добра ночь, пане!

Бесшумно вышел в соседнюю комнату.

Утром, когда Никодимов собравшись уезжать, вышел на крыльцо в сопровождении гостеприимного председателя, таратайка его уже стояла у крыльца. И тут-же, у крыльца, растянувшись в две шеренги вдоль улицы, стояло человек шестьдесят вооруженных винтовками крестьян. Некоторые из них были одеты в ста-

ВОЛЬНАЯ ДЕРЕВНЯ

рые солдатские кителя и гимнастерки, большинство же в обычной крестьянской одежде, — поддевках и рубашках. Никодимов с удивлением заметил среди них несколько женщин и девушек в цветных платочках, с винтовками в руках. Вдоль фронта прохаживался человек, небольшого роста, но с гордой осанкой, в мундире фельдфебеля николаевских времен, с «Георгием» в петличке.

Едва Никодимов вышел с председателем на крыльцо, как фельдфебель скомандовал:

— На-а-а крр-а-а-ул!

Звякнули винтовки в стройном движении.

Никодимов понял, что этот парад устроен специально для него.

Из любезности он расхвалил войско дымившему как труба председателю и, распростившись, уехал, не решившись спросить об отобранном револьвере, считая его для себя навсегда потерянным.

Но едва он выехал за околицу села, как из-за гумна появился перед ним человек с винтовкой.

— Стой!

Подошел к таратайке.

— По распоряжению пана председателя!

Протянул Никодимову отобранный накануне револьвер.

... Когда Никодимов отъехал версты две, по полям, как прощальный салют, вслед ему бабахнула пушка.

1919 г.

БЕССМЕРТНЫЙ ПРОХОРЫЧ.

Захолустье, дремучее как сон медведя: среди лесов городишка крошечный, затянутый черноземной грязью. С базарной площади, напоминающей в ненастье болотную топь, видны концы безлюдных и серых улиц, упирающихся в сырую и угрюмую лесную чашу, где по ночам воют голодные волки. Вдоль домов — тротуары в две дощечки, так затянутые грязью, что прохожий нащупывает их ногою и балансирует как клоун на канате. Базар — месиво грязи, смешанной с соломой и скотским пометом. В грязи по колено тонут пестро разодетые мордовки, лошади и мужики; телеги сторожат грязные собаки; грязь на колесах, на лицах, на одежде. Но базар — душа городка. Нет базара, нет и жизни в городке: дремлют серые домишки, тупо храня в нутре своем тягучие тайны беспросветного бытия, безлюдные улицы до того пусты и скучны, что зевают во всю челюсть даже ленивые, отупевшие от сна собаки. Бесконечны дни, бесконечны темные ночи. На колокольне приземистой церкви посреди базарной площади живет филин и его мрачное гуканье по ночам нагоняет на жителей жуть.

Базарный день — праздник городка.

Веселый клуб среди грязи.

В старые годы по базарной площади разгуливал, шаркая ревматическими ногами, страй седой городской, единственный на весь город. Звали его Прохорыч. Он проводил время философски: курил трубку, дре-

БЕССМЕРТНЫ И ПРОХОРЫЧ

мал на солнышке и временами покрикивал на приезжих мужиков.

— Куды прешь, чорт безглазый!

Чорт опасливо чесал в затылке.

— Да я стало-быть, Прохорыч...

— Я тебе не Прохорыч.

— Ну стало быть... ваше благородие... надо мне на энто место...

— Поворачивай назад.

— Да я стало быть...

— Ровный по телегам!

— Дозвоьте, ваше благородие... сделайте милость.

— Поговори у меня...

И Прохорыч, сплевывая, добавлял:

— Р-рвань!

Чорт становился с своей телегой куда приказано, опасливо ворча.

— Фараонска морда.

Это, впрочем, не мешало тому, что через некоторое время мужик и Прохорыч оказывались внутри сырого, темного, обширного трактира, у столика близь квадратного окна, за прибором чая. При этом Прохорыч отводил глаза и как-бы наблюдал в окно за базарным порядком, когда мужик быстро выливал кипяток в полоскательницу и таинственно под столом наливал в чайник что-то соблазнительно булькующее.

После этого Прохорыч вытирал усы.

Довольно кричал.

Смачно закусывал селедкой и пускался в путанный, хотя и доброжелательный, разговор о войне, ругал немцев, хвалил англичанку, а также и некоторых генералов, при которых он еще в древние годы служил.

Это вызывало в мужике уважение к нему, ибо генералы были в городе явлением редким, даже небывалым.

А Прохорыч гордился.

И вдруг начинал строго кричать в окно.

— Куды прешь с лотком-то...

Баба умильно улыбалась.

— Тебе пирожок несу.

Прохорыч снисходительно принимал приятный дар.

— Давай, давай. Ну уж становись... к краешку.

И баба пробиралась куда ей хотелось.

Вечером Прохорыч солидно шагал по безлюдным улицам в философски веселом настроении и засыпал под боком городовихи с чувством исполненного долга. Ночью он был ненадобен, ибо на всех улицах колотили в свои доски караульщики.

А утро заставало его уже на страже.

Он как будто родился вместе с городком и намеревался вместе с ним отойти в вечность. Самые старые старожилы не запомнят, когда появился на посту своем Прохорыч.

— Поди уж лет тридцать тому... а то и все сорок, — говорили они, — еще при Лександре Миколаеч мотри...

Возможно и вполне допустимо, что и еще лет тридцать — сорок простоял бы Прохорыч на своем посту в первозданном виде своем, если бы не случились происшествия удивительные и даже, можно сказать, сказочные. Однажды из местной гимназии вышла группа гимназистов, торжественно перешла площадь, подошла к Прохорычу и выделила из своей среды, в качестве оратора, восьмиклассника, до некоторой степени уже отягощенного усами.

— Гражданин городской, — обратился оратор к

Прохорычу, — слышали ли вы, что происходит в России?

Прохорыч был совершенно ошеломлен.

Он вынул трубку изо рта.

И во все глаза смотрел на гимназиста.

А тот выговорил резко и внушительно.

— В России революция, дом Романовых свергнут, объявлена республика. Гражданин городской, переходите на сторону восставшего народа.

Он протянул руку.

— И отдайте ваше оружие.

Прохорыч впал в столь высокую степень ошеломления, что беспрекословно позволил себя разоружить, хотя и все оружие его заключалось в так называемой «сеledке» да древней системы пистолете.

Гимназисты прокричали:

— Ур-р-р-р-а-а...

И двинулись дальше с пением марсельезы.

Уходя, как побитый, домой, совершенно не зная, что и думать, Прохорыч видел, как бежали с окраин к центру тарханы, как где-то в конце улицы захопало красное знамя...

И он решил:

— Конец света.

Между тем гимназисты понимали, что без порядка невозможно, и поэтому в Городской Думе возбудили вопрос о милиции. Стали искать — какого бы такого верного человека выбрать в милиционеры... но граждане были на перечет: все люди деловые и несвободные.

Думали, думали...

И решили:

— Да чем же Прохорыч не милиционер. Он ведь без сопротивления ктому же перешел к народу.

Послали послов к Прохорычу.

— Желаете в милиционеры?

Прохорыч уже отсиделся и огляделся.

Он пососал трубку, подумал, сплюнул в сторону...

И сказал:

— Да что-ж... могу...

— Вот и хорошо.

— Только... жалованьишко-то...

— Прибавим.

Начались с тех пор в городе новые порядки.

По площади разгуливал милиционер, вооруженный допотопным револьвером, покуривал трубку, дремал на солнышке и в просонках покрикивал на мужиков.

— Куды прешь, гражданин разнесчастный!

— Да я стало быть, Прохорыч...

— Я тебе не Прохорыч.

— Да я ваше бла... ваше гра...

— Поговоришь у меня... ровняй по хомутам!

— Да мне...

— Ну-у... Сказано!

Гражданин покорно плелся куда указано.

Но вскоре, как и прежде, гражданин и Прохорыч сидели внутри сырого, темного, обширного трактира, украшенного теперь портретом Керенского и, как прежде, гражданин раскупировал под столом что-то соблазнительно булькующее. Как и прежде, баба подносила Прохорычу через окно дымящийся пирожок и становилась на облюбованное место.

Гимназисты ходили через площадь с красным флагом, говорили на перекрестках речи, а Прохорыч охранял порядок и делал гимназистам под козырек.

...Но время шло...

А с ним — перемены.

БЕССМЕРТНЫЙ ПРОХОРЫЧ

Как-то по осени, в самую распутицу, пришли тарханы с окраин, сняли Прохорыча с поста и заявили ему, что милиция в городе упразднена, а будет охраняться город только красной гвардией, ибо гидра контрреволюции подняла голову.

Про гидру Прохорыч слышал впервые в жизни.

Но он уже ко всему стал привыкать.

Он подумал, сплюнул в сторону и сказал:

— Запишитъ меня в гвардию... потому желаю отечеству служить.

С той поры стал по площади разгуливать красногвардеец.

Базар так и ахнул.

— Глянь-кось... опять Прохорыч.

— Да он у нас бессмертный!

А красногвардеец покрикивал.

— Куды прешь, товарищ!

— Да я стало быть...

— Поговори у меня.

— Да я, товарищ...

— В чрезвычайку захотел... ровняй по оглоблям!

Но покрикивать ему приходилось уже редко. К этому времени базар запустел. Купцы поразбежались, лавки их были реквизированы и заколочены, а мужики ничего не привозили на базар, потому-что обиделись на город:

— Все жрет, а ничего не дает.

Шаркая ногами, медлительно ходил Прохорыч по пустому базару и, побуждаемый жаждой деятельности, покрикивал на голодных собак:

— Куды прешь!...

Собака поджимала хвост и уходила.

Прохорыч курил, сплевывал в сторону, принимался дремать и зевал во всю челюсть.

К этому времени он стал зашибать.

Грызла его какая-то тоска... и увлекала на конец серой улицы, где жила вдова-самогонщица. И утром, идя на свой пост, и вечером, возвращаясь к дому своему, он стучал в окно самогонщицы.

— Нацеди-ка...

Шумно вздыхал, задумывался...

И басил:

— А нука... още...

И вот, однажды... в особо тоскливую минуту... он это «оше» повторял до тех пор, пока, направляя трубку в рот, не попал ею себе в глаз, отчего и выронил ее... а когда стал искать, для чего пришлось встать на четвереньки, то позабыл и о трубке и обо всем на свете и уснул тут же у окна самогонщицы. Проснувшись, он долго не мог ничего понять: улица... серое утро... пустота кругом... стук в голове. Едва-едва сообразив происходящее, он с трудом поднялся на ноги, долго крутил в недоумении головой. И вдруг решил идти прямо на свой пост, потому что теперь на глаза жены не стоит и показываться.

Вышел на площадь.

Встал...

Задумался.

И вдруг... весь похолодел.

По площади, прямо на него, двигался генерал... самый настоящий генерал, во всех присвоенных званию регалиях. Был у генерала подбородок бритый, а борода вместе с усами уходила далеко в стороны, точно генерал взял в рот и закусил конский хвост.

— Мерещится... — подумал Прохорыч.

БЕССМЕРТНЫ И ПРОХОРЫЧ

Он потихоньку перекрестился.

— ...сгинь.. исчезни...

Но генерал не исчезал.

Быстрым шагом он все ближе надвигался на Прохорыча и в тумане ненастного утра Прохорыч расметрел за ним несколько движущихся всадников. Внезапно в Прохорыче, где-то глубоко внутри, возникла тоска... и вдруг тоска обратилась в радость и хмельно ударила ему в голову.

Он тряхнул головой.

Вытянулся в струнку.

И, взяв под козырек, внезапно заорал зверским голосом на всю туманную и сонную базарную топь:

— Здр-а-вия желаю... ваше превосходит...ство-о.

1919 г.

БЕССМЕРТНЫЙ ПРОХОРОЧ.

(Вариация для сцены.)

С ц е н а п е р в а я .

Глухой городок, базарная площадь, церковь приземистая, «Трактир», вдаль уходит улица — концом в лес упирается.

Аншлаг: Год 1916-ый.

1

Б а б а . — Купи пирожок. С лучком, горяченьки.

М у ж и к . — А пачем цана-то?

Б а б а . — Пятачек. (Дает ему пирог). Вдовье дело-то: сын на войне, а другой крохотный. Плохая жисть пришла.

М у ж и к . (Жует) — Ничаво. Скоро бунт будет.

Б а б а . — Городишка наш маненький, всего-то пять юлочек, кругом лес, а в лесу волки воют. В зимню пору и на улицы забегают. А тут еще на колокольне филин завелся, как темень — гукает. Не спишь ночью-то... страхи.

М у ж и к . — Евто не филин.

Б а б а . — А кто?

М у ж и к . — Покойник с кладбища, земля коего, слышь, не доржит, — вот он и сидит на колокольне. Мы евти дела понимаем тонко.

Б а б а . — Только и свету видишь что базар. Хоть

ВЕСОМЕРТНЫ И ПРОХОРЫЧ

с человеком перемолвишься. Народ здесь скушный. Скупой народ, за гривну удавится. Глико-сь: ни одной тебе дощечки по улице, — в ненастье — топь, не вылезешь. Сказывают: прошлой осенью попадаья вместе с лошадыю утопла посередь улицы.

Мужик. — Евто не попадаья.

Баба. — А хто?

Мужик. — Ведьма. Коя в Бога не верует. Хрещеный человек здря не утонет. Мы евти дела понимаем тонко. Давай еще пирожок.

Баба. — Никак Прохорыч идет. Вот еще беда: не дашь ему пирожок — по всему базару загоняет.

Мужик. — (Озираясь) Ен строгий.

Баба. — Страсти-ужасти.

Мужик. — Мы ява знаем. Ен давнишний.

Баба. — Сорок лет на посту стоит.

Мужик. — Еще сорок простоят. (Философски.) А бунт будет — убьют.

Баба. — Ох, идет. Ох бежать надо.

Мужик. — Ишь поперла. И чаво. Городового запужалась. А мы не боимся. Нам што. (Стоит героем. Слышны тяжелые шаги.) Никак подходит. (Крестится и отступает.) Уйти от греха.

Прохорыч. — Куды прешь, чорт безглазый!

Мужик. — Да мне, стало-быть, Прохорыч...

Прохорыч. — Я тебе не Прохорыч.

Мужик. — Ну, стало быть... ваше благородие...
Надо нам на енто место.

Прохорыч. — Куды телегу-то впер!

Мужик. — ... Стало-быть...

Прохорыч. — Поворачивай назад!

Мужик. — Наши покупатели туто-ка.

БЕССМЕРТНЫЙ ПРОХОРЫЧ

Прохорыч. — Поговори у меня еще. В кутузку захотел?

Мужик. — Сделайте божескую милость, дозвоьте, ваше благородие... на ентом месте.

Прохорыч. — Равняй по оглоблям! (Сплевывает в сторону.) Рва-нь.

Мужик. — (Чешет затылок.) Фараонска морда. И чего с ним делать? (Подходит с шапченкой.) Пока робяты поторгуют, пойдем, ваше благородие, чайком брюхо пополоскать. Чаек-от у трактирщика отменный: белесый, на свету скрозной, и в голову бросается, аж искры играют.

Прохорыч. — (Смягчаясь.) Евто дело двунадесятое. Иди, заказывай. А я сейчас подойду, только порядок наведу.

Мужик спешно бежит к трактиру.

Прохорыч. — (Идет по базару.) Эй, куда вперлись, анафемы. Р-равняй по хомутам. Забыли что начальство приказыват? Правил не знате? Держи порядо-к!

2

Трактир.

На стене портрет Николай Николаича. В окно виден базар. За буфетом буфетчик в белой рубахе, об одном глазе, борода широкая, рыжая. У окна за столом мужик и Прохорыч. Мужик под столом раскупоривает бутылку и наливает водку в чайник, вылив кипяток в полоскательницу. Прохорыч делает вид, что не замечает подмена. Выпивают и закусывают.

Прохорыч. — Таперича скажем... война. Для чего война? Што-бы порядок был. Без порядку невозможно. Который ежели человек из порядку вы-

шел, того учить надо: равняй по морда-м. (Показывает кулак).

Мужик. — Евто точно. Ево кокнеш, он и очу-хается. Мы евти дела понимаем тонко.

Прохорыч. — Кокнуть — первое дело. Потому человека словом не проймеш. Ты ему слово, а он тебе два. Вот и немец, к примеру. Ему царь-от наш говорит: — так не хочешь равняться? — Не хочу. — А в морду хочешь? Вот ево теперича наши енаралы и лупцуют, оттого и война пошла. Потому — держи порядок. И покажут ему порядок. У немца ноги тонки, жиблый он, вроде как журавь. А наши енаралы — орлы. Налетит, — только пух полетит, да перо в разны стороны. Служил я в стары годы в армии, Плевну брали. Так был у нас енарал, — ево пуля не брала. Выйдет на редут, пули свистят, а он смеется: только, говорит, дурак пули боится, потому она ежели в рот, так проскочит, а в лоб, так отскочит. Я тебе скажу: выше енарала человека нет, — на ем все царство держится.

Мужик. — (Через стол.) А вот сказывают: бьют наших-то на хронте почем здря, потому снарядов не хватает. Какой-же евто порядок?

Прохорыч. — Не нашего ума дело, про то начальство лучше знат. Начальство знат как порядок наводить. Вот скажем... водка. Для чего водка? Для увеселения ума и тела. А почему ее запретили?

Мужик. — (Чешет затылок.) Да вот... разбери-ка... евто точно. (Поспешно берет стакан.) За твое здоровье.

Прохорыч. — (Чокаясь.) Много лет здравствовать. А закрыли — потому непорядок. В народе никакого равнения. Бывало дитя и то руку тянет: дай,

БЕССМЕРТНЫЙ ПРОХОРЫЧ

дай. А теперь равнение пошло. Потому трезвость для порядку — первое дело. Нацеди-ка еще.

Мужик. — (Таинственно.) А вот что в народе гуторют, Прохорыч, правду-ли, нет-ли: будто бунт будет?

Прохорыч. — Какой бунт?

Мужик. — (Пугаясь) По всей земле, стало-быть.

Прохорыч. — (Строго молчит некоторое время.) Што начальство прикажет, то и будет. Не нашего ума дело. Евто все сецилисты выдумали, а им в Себири место. (Кричит в окно.) Куды прешь с лотком-то!... эй, тетка!

Баба. — (У окна, умильно.) Тебе пирожок несу.

Прохорыч. — С чем оно?

Баба. — (Шутливо.) С лучком да с морковкой, со щучьей головкой.

Прохорыч. — (Снисходительно.) Давай, давай, дар приятный... Ну, уж становись вон туда, к краешку. Да порядок держи. (Кричит вслед.) По лоткам ровняй-ся.

Сцена вторая.

Та-же площадь, красные флаги над трактиром.

Аншлаг: Год 1917-ый.

1

Баба. — Купи пирожок. С капусткой, горяченьки.

Мужик. — А почем цана-то?

Баба. — Керенка. (Дает ему пирог.) Вдовье де-

ло-то: сын в Питере в гарнизоне, а другой крохотный. Да хоть крохотный, а от рук отбился: все с флагом бегаёт да Матьвоезу поёт. Вот говорили: леворюция... а жить хуже стало.

Мужик. — (Жует.) Ничаво. Мы таперича помещиков жгем. А как выжгем, лучше станет.

Баба. — Городишка наш маненький, всего-то пять юлочек. Кругом лес, а в лесу волки воют. Зимой на улицы забегают. А тут еще на колокольне второй год филин по ночам гукает. Не спишь ночью-то... страсти.

Мужик. — — Евто не филин.

Баба. — А кто?

Мужик. — Солдат беглый, с хронта, хоронится. А взять ево никто не смеет, они ноне хозяева. Мы евти дела понимаем тонко.

Баба. — Только и свету видишь что базар. Хоть с гражданином каким перемолвишься. Народ здесь скушной. Скупой народ, за керенку удавится. Вот хоть и нова Дума, а последни фонари попадали. По улицам тьма. А они и во тьме все говорят, да все говорят, говорят да говорят, инда головушка кругом. А толку нет. В ненастье топь на улицах-то. Позапрошлой осенью, говорят, попадья вместе с лошадью в луже утопла.

Мужик. — Евто не попадья.

Баба. — А кто?

Мужик. — Помещица наша. Хороший человек здря не утонет. Мы евти дела понимаем тонко. Давай еще пирожок.

Баба. — Батюшки, никак Прохорыч идет.

Мужик. — Кто-о?

Баба. — Да Прохорыч, мелиция наша.

Мужик. — Опять ен! А у нас в деревни баили: всех мол городских перебили.

Баба. — Как ево убьешь? Он у нас один. Как леворюция-то ета самая случилось, в те-поры-ж аммуницию у него сняли и ерудие отобрали. Емназисты и ерудие-то отбирали. Ну, он сразу и отдал, испужался уж очень. Ну, и долго у нас думали: убить яво али так отпустить? Спервоначалу порешили: убить. Ну, тут емназисты-то и говорят: он-мол без супротивления к народу перешол и ерудие отдал. Порешили: так отпустить. А тут приказ вышел — что-б мелиция была. А где ее возьмешь? Народ у нас на перечете, все люди занятые. Думали-думали, ну и порешили: опять Прохорыча пригласить.

Мужик. — Ен строгий.

Баба. — Полегче стал... а дань подай. Ох, идет, ох, бежать надо.

Мужик. — Ишь, поперла. И чаво?... Мелиции запужалась. А мы не боимся (Стоит героем.), нам што?! Времена-то не те... вот што. Нас брат пугать нечего. Мы сами попугаем. (Слышны тяжелые шаги). Никак подходит. (Отступает.) Уйти от греха.

Прохорыч. — (С красным пучком на груди.) Куды прешь, гражданин разнесчастный.

Мужик. — Да мы стало-быть, Прохорыч...

Прохорыч. — Я тебе не Прохорыч.

Мужик. — Да я, ваше бла... ваше гра...

Прохорыч. — Куды телегу-то впер?

Мужик. — Наши покупатели туто-ка.

Прохорыч. — Поворачивай назад!

Мужик. — Ваше бла... ваше гра...

Прохорыч. — Поговори у меня. В милицию захотел?

Мужик. — Сделайте божескую милость... гражданин Прохорыч.

ВЕССМЕРТНЫИ ПРОХОРЫЧ

Прохорыч. — Р-равняй по телегам! Порядку не знашь? (Сплювывает в сторону.) Контр-лицинер.

Мужик. — (Чешет затылок.) Комисарска морда. И чего с ним делать? (Подходит с шапченкой.) Пока ребята поторгуют, пойдем, гражданин, чайком брюхо полоскать. Чаек-от у трахтерщика отменный: белесый, на свету сквозит, а в голову бросится, аж искры играют.

Прохорыч. — (Смягчаясь.) Енто дело двунадесятое. Иди, заказывай. А я подойду, только порядок наведу.

Мужик спешно бежит к трактиру.

Прохорыч. (Идет по базару.) Эй, не толпи-сь. Куды вперлись с телегами-то, граждане разнесчастные! Р-ровняй по хомутам! Забыли што начальство приказывает? Правил не знате? Вот я... Держи порядок-к.

2

Трактир.

На стене портрет Керенского. В окно базар виден. За буфетом трактирщик в красной рубахе, об одном глазе, борода широкая, рыжая. У окна за столом мужик и Прохорыч. Мужик под столом раскупоривает бутылку и наливает водку в чайник, вылив кипяток в полоскательницу. Прохорыч делает вид, что не замечает подмена. Выпивают и закусывают.

Прохорыч. — Теперича скажем... леворюция. Для чего леворюция? Што-б порядок был. Без порядку невозможно. Который ежели человек из порядку вышел, тово учить надо: ровняй по морда-м (показывает кулак.).

Мужик. — Евто точно. Ево кокнешь, он и очуається. Мы евти дела понимаем тонко. Вот к примеру помещиков взять. Ево кокнешь...

Прохо́рыч. — Потому — человека словом не проймешь. Ты ему слово, а он тебе два. Вот к примеру старо правительство взять. Енаралы царю говорят: — орудиев нету, снарядов не хватат, у православно-го воинства сила не берет. Ты для порядку поставлен, почему порядку нету? А царь-то и величается: — не желаю с вами разговаривать, вон пошли. — Ну, видят енаралы: нет порядку. Пошли к сецилистам. — Так и так, говорят, нету порядку, а чево делать — не знам. Ну, сецилисты-то, народ головастый, и говорят: откедова беспорядок? От царя? Ну, сместите царя, тогда и порядок будет. — А в начальство-то ково-же? Сецилисты и говорят: — нас. Вы будете воевать, а мы управлять. Ну, пришли енаралы к царю: — хошь порядок завести? — Не ваше дело. — Не наше? — Не ваше. — А в мор... а не наше, так смещайся, вот и наше будет. Так то вот оно и тово... и сместили. Триста лет... а сместили. Енаралы, брат, орлы. Налетят, только пух полетит, да перо в разны стороны. Служил я в стары годы в армии, Плевну брали. Так был у нас енарал, ево пуля не брала. Пуля, грит, дура, чево ее бояться: в рот, так проскочит, в лоб, так отскочит. Я тебе скажу: выше енарала человека нет, на ем свет держится. (Тихо.) Вот скоро приедет енарал... на белом коне... он порядок заведет.

Мужик. — (Сторожко.) Какой генерал?

Прохо́рыч. — (Спохватываясь.) Молчи, не нашего ума дело. А без порядку нельзя. Вот скажем... водка. Для чего водка? Для освежения слуха и зренья. А почему ее запретили?

Мужик. — (Чешет затылок.) Разбери-ка... почему... это точно. (Поспешно берет стакан.) За твое здорovie, гражданин.

ВЕССМЕРТНЫИ ПРОХОРЫЧ

Прохорыч. — Много лет здравствовать. А запретили — потому беспорядок. В народе никакого равнения. Бывало дитя малое руку тянет: дай, дай. А теперь равнение пошло... чем дале, тем боле. Потому трезвость для порядку — первое дело. Нацедика еще.

Мужик. — А вот что в народе гуторют, Прохорыч, правду-ли, нет-ли: — (Таинственно.) Будто опосле царя власть-то буржуи захватили... и скоро против них бунт будет.

Прохорыч. — (Осторожно.) Какой бунт?

Мужик. — По всей земле стало-быть... што-б мужицкого царя посадить.

Прохорыч. — (Смущенно молчит некоторое время.) Што начальство прикажет, то и будет. Не нашего ума дело, начальству виднее. (Кричит в окно.) Куды прешь с лотком-то... эй, гражданинка.

Баба. — (У окна, умильно.) Тебе пирожок несу.

Прохорыч. — (Снисходительно.) Давай, давай... дар приятный. Ну, уж становись вон туда, к краешку. Да порядок держи. (Кричит вслед.) По лоткам ровняй-ся.

Сцена третья.

Та же площадь, пустынная, лавки заколочены. На бывшем трактире вывеска: «Советская столовая», окна выбиты, внутри пусто. Кругом ни души. Вдали заглушенные выстрелы. Мужик стоит, с сумой на боку. Идет баба.

Аншлаг: Год 1918-ый.

1

Мужик. — Подайте, христа-ради, православные радетели... товарищи...

ВЕСОМЕРТНЫИ ПРОХОРЫЧ

Баба. — И чего вас тут носит, у самих ничего нет. О, да это ты, Софроныч? Что с тобой?

Мужик. — Кобылка все поела... о двух ногах. До тла. Остатню пшеницу выскребла.

Баба. — Так вас, мужиков, и надо: в город хлеба не даете, — гляди: базар-от пустой.

Мужик. — Дай хоть пирожок. Сдыхаю.

Баба. — Не торгую ими больше. Вдовье дело-то: сын в Пензе енарал-губернатором, али вроде того. А меньшей-от, шешнадцатый пошел, — менистром заделался: вас мужиков-дураков просвищению учит. Оба, дай Бог здоровья, не забывают, мать ублажают, и продуктом и довольствием. Так я теперь самогоном занялась. Жить лучше стало.

Мужик. — (Неопределенно.) Ничаво. Мы вот тоже... помещиков пожгли. Лучше стало... А почем самогон-то?

Баба. — Мельон за мерзавчик продаю.

Мужик. — (Уныло.) Не по нашей суме.

Баба. — Городишка наш маненький, пять юлочек было, теперь три осталось, две-то выжгли. Кругом лес, а в лесу стрельба день и ночь, все вокруг города белые енаралы бродят. А тут еще на колокольне... второй месяц пулемет поставлен, кажную ночь трещит, врагов отпугивает. Не спишь ночью-то... страсти. А то бы все хорошо.

Мужик. — Евто не пулемет.

Баба. — Ну вот скажешь, а что по твоему?

Мужик. — ...Чорт. Евто у яво голос такой, потрескиват. Ноне в Бога перестали верить, так по всем черквам черти завелись. Они ноне хозяева. Мы евти дела понимаем тонко.

Баба. — Ох, сила крестная, спаси и помилуй.

(Крестится.) Только бывало и свету видишь что базар. Хоть с товарищем перемолвишься. А ноне пусто. Лавки заколочены. Купцы разбежались. И ваши мужичишки не приезжают, не хотят город кормить. А народ здесь скушной. Скупой народ, за мельон удавится. Да и жители-то все в комиссарах да в чиновниках, и в домах-то все канцелярии, а в коих канцелярии нет — заколочены. Ночью идешь — топь, да еще ямы какие-то водой налились. Намеднись двух комиссаров выволокли, захлебнулись.

Мужик. — Евто не комиссары.

Баба. — А хто?

Мужик. — Буржуи. А комиссары не тонут. Мы евти дела понимаем тонко.

Баба. — (Дает ему бумажку.) Ну, вот, прими Христа-ради. Вон никак и Прохорыч идет, — надо бежать самогону припасать, ен не может без него.

Мужик. — Опять Прохорыч?

Баба. — Он же у нас Красная Гвардия, город сторожит.

Мужик. — Да он у вас бессмертный!

Баба. — Без нево какже. Как началась это тогда, по осени, завирюха, в октябре-то, коммунысты Прохорыча и сместили. При мне было дело. Стоит это он на посту, трубку посасывает, а они вот: мелиция, говорят, в городе упразднена, потому гидра контры-леворюции подняла голову.

Мужик. — Гидра? Евто што?

Баба. — Бог весть. Гидра. Ну, и говорят коммунысты-то: будет теперь город охраняться красной гвардией. А Прохорыч-то подумал так, сплюнул да и говорит: запишить меня в Красную Гвардию, потому желаю отечеству послужить. Вот с тех пор... Ох, идет,

БЕССМЕРТНЫ И ПРОХОРЫЧ

ох, бежать надо — самогону припасать. Он теперь зашибать стал.

Убегает.

Прохорыч. — (Выходит, пошатываясь, на фуражке красная звезда, на мужика натывается.) Куды прешь, товарищ?

Мужик. — Да я стало-быть, Прохорыч...

Прохорыч. — Какой я Прохорыч. Я уж... не Прохорыч.

Мужик. — Да я, товарищ...

Прохорыч. — В Чрезвычайку захотел? Поговори у меня.

Мужик. — По кусочкам хожу... я што-ж.

Прохорыч. — На том свете не бывал?

Мужик. — ...Я...я...

Сторонкой улепетывает.

Прохорыч. — Р-равный по оглоблям! (Мутно озирается, задумывается.) Теперича ежели... скажем... гидра. Для чего гидра? (Стоит в молчании.).

Выбегает куца собака, — не то живая, не то призрак, и голос глухой.

Собака. — Вав... вав...

Прохорыч. — Куды пре-ешь... (Смотрит на собаку.) Собака. Откудова собака? А тебя не с'ели? Вот хвоста нет, а... храбрая. А може я тебя с'ем? Эй, слышь. Не боишься? Вот. А теперича скажем... гидра. Для чего гидра? Для порядку, али так? Без порядку невозможно, это точно. Ты, говорит, Красная Гвардия. Потому — гидра. А меня... жена бросила. Ноне, говорит, слобода. Сто лет... а морду красит. Куда-же я... Эй, собака... слышь... куда-же мы с тобой... а?

Собака. — Вав... вав...

БЕСОМЕРТНЫ И ПРОХОРЫЧ

Прохорыч. — Ты рассуди: гидра. Откудова она? Подняла, грит, голову... гидра. Кокнуть ее? Кокнуть... евто первое дело. Потому человека словом не проймешь. Ты ему слово, а он тебе два. А ежели... скушно... ну вот... тоска! Куды пойдём-то с тобой... эй, собака? Служил я в стары годы в армии. Плевну брали. Так был там енарал... он пули глотал. А в лоб, так отскочит. Эх... помереть-бы штоль... слышь собака... Выходит: енарал-то гидра? И ежели вот тут пойдет енарал... должен я в нево стрелять, али не должен? Выходит — должен. Потому — беспорядок. Который ежели человек из порядку вышел, тово учить надо: равняй-ай по мор-р... А чево-ж... тоска... слышь, собака?

С о б а к а. — Вав... вав.

Убегает.

Прохорыч. — И эта ушла. Все ушли... А што-то все сердце жгет. Пойду, хвачу самогону.

Идет. Вдруг — генерал навстречу. Нето живой, нето призрак. Останавливается и строго смотрит на Прохорыча.

Прохорыч. — Мерещится... сон или явь? — (Крестится.) Сгинь... исчезни. Нет, не исчезает. Неуж... настоящий? Настоящий. Кокнуть?... Беспременно кокнуть. (Возвышает голос.) Эй... сдавайся...

Выхватывает шашку и заносит ее над генералом. Но шашка дрожит в руке, дрожит и падает. Рука медленно, как-бы сама собой, двигается к козырьку.

Прохорыч. — (Гулко и раздельно.) Здравия ж-желаю... ваше... превосходит... ство-о.

Стоят неподвижно, генерал и Прохорыч. Походный хор издалека доносится, словно сон.

«Эх, яблочко...

Куды ты котишься».

С К А З К А .

О БЕЗРОДНОМ ЧЕРТЯКЕ.

(Инсценировка современной народной сказки.)

Столб придорожный. Выбегает Чертяка, у столба садится

Чертяка. — Вот весь я тут, Чертяка. Совсем безродным стал. Жил-поживал в аду, да попал в беду: вздумал святого соблазнить. Забрался к нему в келью, прыгнул в кувшин, давай воду мутить, — вот мол в молитве помешаю. А он кувшин-то и перекрести. Не выпущу, говорит, пока службы мне не сослужишь. Что делать: три года его на себе по святым местам возил. А как освободился, да в ад явился, на смех меня подняли, а Сатана полхвоста оторвал и из ада выкинул. (Плачет) Нет у меня, Чертяки, ни папаши, ни мамыши, ни роду, ни племени. Куда пойду, куда денусь? Попроситься разве к кому-нибудь в родню? Скажу: вот, мол, весь я тут, Чертяка безродный. Авось сжалятся. Посажу, погляжу: не подвернется-ли кто. (Высматривает из-под ладони.) А вот медведь идет. Сем-ка я к нему.

Идет Медведь, толстый, важный.

Чертяка. — Здравствуй, Медведь.

Медведь. — Здравствуй, коль не шутишь.

Чертяка. — Вот весь я тут. Может ты мне дядя?

Медведь. — Да ты кто такой?

Чертяка. — Чертяка безродный. В аду жил-поживал, пока в беду не попал, меня и выгнали.

О БЕЗРОДНОМ ЧЕРТЯКЕ

Медведь. — У меня хоть зубы и остры, да норов простой: шкуру деру а душ не гублю. Мне чорт не племянник. Проваливай.

Уходит по дороге, толстый, важный.

Чертяка. — Не выгорело. Крутой зверь Медведь, ни с которого боку не подступишься. Еще и в родню-то попадешь, так он голову от'ест. Посижу, подожду: не подвернется-ли кто попроче. А вон кто-то идет. Да это волк идет. Сем-ка пойду, попрошусь в родню к волку.

Идет Волк, худющий, злой.

Чертяка. — Здравствуй, Волк.

Волк. — (Мрачно.) Здравствуй так здваствуй, мне все равно.

Чертяка. — Вот весь я тут. Может ты мне брат?

Волк. — Говори толком: кто такой, — зуб не заговаривай.

Чертяка. — Чертяка безродный. В аду жил-поживал, пока в беду не попал, меня и выгнали.

Волк. — Чем гнали: топором аль вилами?

Чертяка. — Трезубцем каленым.

Волк. — Так дураку и надо. Ишь выдумал: к волку в братья проситься. У вас все в аду такие умники? Я хоть всегда и голодный, да не чорт безродный: грешен — барашка люблю, а душ не гублю. Мне чорт не брат. Сгинь с глаз, не то плохо будет.

Уходит по дороге, худющий, злой.

Чертяка. — (Отбегая.) Какой сурьезный. (Садится у столба.) Опять неудача. Нет, надо каку-нибудь птицу поискать, к ней в родню попроситься, — они попроче. Посижу, подожду, авось кто и подвернется. (Высматривает из-под ладони.) Да вон Сова идет. Сем-ка пойду к Сове.

О БЕЗРОДНОМ ЧЕРТЯКЕ

Идет Сова, важничает.

Чертяка. — Здравствуй Сова, умная голова.

Сова. — Здравс-сте, здрас-сте. Чем служить могу?

Чертяка. — Вот весь я тут. Может ты мне тетка?

Сова. — А вы кто-же будете, — днем я плохо вижу, рассмотреть не могу.

Чертяка. — Чертяка безродный. В аду жил-поживал, пока в беду не попал, меня и выгнали.

Сова. — За кого-же вы принимаете меня? Я хоть птица и ночная, да не такая. Птица почтенная и себя уважаю. Попугать люблю, а душ не гублю. Я чорту не тетка.

Чертяка. — (В отчаянии.) Ну, тетка не тетка, — выходи за меня замуж.

Сова. — Что вы сказали? Я не ослышалась? Вы предлагаете мне руку и сердце?

Чертяка. — Осчастливлю! Весь мир к твоим ногам положу. Будешь птица над птицами, сова над совами. Царицей совиной тебя сделаю!

Сова. — (С презрением.) На это одно могу вам ответить: — фи!

В негодовании уходит по дороге, величается.

Чертяка. — Даже пот прошиб. Нет, не хотят меня звери. Что-же мне делать, Чертяке горемычному? В ад меня не пускают, на земле не принимают. Разве к человеку пойти? Нет, что я... как возможно. Человек-то — лучшее творение божие. По образу божью сотворен человек-то. Да он меня... из матери в мать, только сунься в родню... (Колеблется.) Али попробовать? Ну, возьмет не возьмет, чем я рискую? Хуже не будет, куда-же деваться. Посижу, подожду, авось

О БЕЗРОДНОМ ЧЕРТЯКЕ

и подвернется такой, что в родню возьмет. Да вон идет какой-то человек, борода по ветру шастает. Семка попытаюсь.

Подбегает.

Чертяка. — Здравствуй, мужичек.

Мужик. — Здравствуй, нос красный. А кто такой будете?

Чертяка. — Чертяка безродный. В аду жил-поживал, пока в беду не попал, меня и выгнали. Вот весь я тут. Может ты мне батюшка родный?

Мужик пытливо смотрит на Чертяку.

Мужик. — А деньги у тебя, Чертяки, есть?

Чертяка. — Этого-то добра у меня сколько угодно.

Мужик. — (Радостно обнимая его.) Сыночек ты мой родный. Да где-ж ты пропадал? Уж я тебя ждал, ждал...

СОДЕРЖАНИЕ.

М у ж и к и .

Призрак прошлого	7
В миру человек	14
Древняя тяжба	22

Э р э с э ф э с э р .

Облик Москвы	35
Жучок	56
Советский дьякон	67
Самогонщица	76
Покойник	82
Советская барышня	87
Путаница	94

Г о с т и .

Цикотуха	103
Инок	108
Мовь	114

О б ы в а т е л и .

Вольная деревня	121
Бессмертный Прохорыч	127
Бессмертный Прохорыч (вариация)	135

С к а з к а .

О безродном чертяке	151
-------------------------------	-----

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО



По предварительной подписке выпускает
Первую серию библиотеки «ОРИОН»

Десять книг

С. ГУСЕВА-ОРЕНБУРГСКОГО

Вышли из печати:

«ГОРЯЩАЯ ТЬМА», — современные рассказы.
«СТРАНА ОТЦОВ», — роман.

Печатаются:

«СТРАНА ДЕТЕЙ», — роман, том 1-й.
«СТРАНА ДЕТЕЙ», — роман, том 2-й.
«МЕДВЕЖИЙ СОН».

Готовятся к печати:

«МОИ СКИТАНЬЯ».
«КРАСНАЯ МОСКВА».
«ПРЕОБРАЖЕНЬЕ».
«АЛЬМАНАХ» № 1-й.
«АЛЬМАНАХ» № 2-й.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подписчики на эти десять книг, внесшие полностью десять долларов по предварительной подписке, — в виде премии получают все книги в переплете.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО



Вторая серия библиотеки «ОРИОН»

- В. Левин. — «ПЕСНЬ О ПЕКИНЕ», поэмы и стихи.
Печатается.
- В. Левин. — «ЗЕЛЕНЫЙ ВСАДНИК»
Готовится к печати.
- Е. Хатаева. — «АРЛЕКИНАДА».
Печатается.
- S. Gussiev-Orenburgsky. — "Floating Ark"
Печатается.

Книги можно получать только на складе Издательства. Все указанные книги первой и второй серий в отдельной продаже: без переплета 1 дол., в переплете 1 дол. 50 с. За справками обращаться по следующему адресу:

“ O R I O N ”

S. GUSSIEV-ORENBURGSKY, CHERNOFF BOOK STORE
227 East 14th Street, New York, N. Y.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕДОРАЗУМЕНИЙ С РАЗСЫЛКОЙ КНИГ,
ИЗДАТЕЛЬСТВО ПРОСИТ ПОДПИСЧИКОВ СООБЩАТЬ О КАЖДОЙ
ПЕРЕМЕНЕ АДРЕСА.

С о ч и н е н и я
С . Г У С Е В А - О Р Е Н Б У Р Г С К О Г О
вышедшие в России до 1918 года.

Том	I. Рассказы	Распродано
Том	II. В гостях	Распродано
Том	III. Страна отцов	Переиздано
Том	IV. В приходе	Распродано
Том	V. Золотой сон	Распродано
Том	VI. Над Поемой	Распродано
Том	VII. Дьякон и смерть	Распродано
Том	VIII. Недоумение	Распродано
Том	IX. Мгла	Распродано
Том	X. Курычанские прихожане	Распродано
Том	XI. Враги	Распродано
Том	XII. В глухом уезде	Распродано
Том	XIII. Люди	Распродано
Том	XIV. Призрак	Распродано
Том	XV. Борьба	Распродано
Том	XVI. Тишина	Распродано
Том	XVII. Рассказы	Распродано

